1984. Скотный двор

Автор:
Джордж Оруэлл

1984. Скотный двор

Джордж Оруэлл

Зарубежная классика (АСТ)

«1984»

Своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века – «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Что, в сущности, страшнее: доведенное до абсурда «общество потребления» – или доведенное до абсолюта «общество идеи»? По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы…

«Скотный двор»

Притча, полная юмора и сарказма. Может ли скромная ферма стать символом тоталитарного общества? Конечно, да. Но… каким увидят это общество его «граждане» – животные, обреченные на бойню?

Содержит нецензурную брань

Джордж Оруэлл

1984

Скотный двор

George Orwell

1984

ANIMAL FARM

Перевод с английского Д. Целовальниковой («1984»), С. Таска («Скотный двор»)

Серия «Зарубежная классика»

Серийное оформление А. Кудрявцева

Дизайн обложки Р. Алеева

Школа перевода В. Баканова, 2022

© Перевод. С. Таск, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2022

* * *

1984

роман

Часть первая

I

Стоял ясный и холодный апрельский день, часы били тринадцать, когда Уинстон Смит, горбясь и тыкаясь подбородком в грудь в попытке укрыться от пронизывающего ветра, спешно скользнул в стеклянные двери жилкомплекса «Дворец Победы». Спешка вышла неловкой, и завиток колкой пыли прорвался внутрь вслед за ним.

В вестибюле воняло вареной капустой и старыми половиками. В одном углу к стене прилеплен цветной плакат, чересчур большой для помещений. На нем просто огромадное, больше метра в ширину, лицо сурового красавца лет сорока пяти с густыми черными усами. Уинстон направился к лестнице, не надеясь на лифт. Тот и в лучшие времена работал редко, а сейчас, в светлое время суток, электричество вообще отключали в целях экономии: близилась Неделя ненависти. До квартиры надо было одолеть семь лестничных пролетов, и Уинстон поднимался медленно, останавливался, переводя дух, на каждой площадке: ему было уже тридцать девять, да и варикозная язва на правой лодыжке давала о себе знать. На каждой площадке со стены напротив лифта взирало огромадное лицо. Изображение было из тех портретов, взгляд глаз на которых неотрывно следовал за тобой, куда ни двинься. Надпись внизу гласила: «Большой Брат следит за тобой».

Внутри квартиры звучный голос зачитывал какие-то цифры, вроде бы данные о производстве чугуна. Голос лился из вправленной в стену справа от входа прямоугольной металлической пластины, похожей на тусклое зеркало. Уинстон повернул регулятор, стало потише, хотя слова все еще доносились довольно отчетливо. Агрегат, звавшийся телеэкраном, можно было приглушить, но не выключить. Уинстон перешел к окну, невысокий и щуплый, в синем комбинезоне члена Партии, который лишь подчеркивал его худобу. У него были светлые волосы и раскрасневшееся лицо, кожа шершавилась от грубого, дешевого мыла, бритья тупыми лезвиями и недавно закончившейся морозной зимы.

Снаружи, несмотря на закрытое окно, тянуло холодом. Ветер кружил по улице пыль и обрывки бумаги. На ярко-голубом небе сияло солнце, и все же город казался лишенным цвета, не считая расклеенных повсюду плакатов. Усатое лицо взирало с каждого заметного угла. На фасаде дома напротив раскинулась

надпись: «Большой Брат следит за тобой» – и взгляд темных глаз забирался Уинстону прямо в душу. Дальше по улице на уровне первого этажа судорожно хлопал на ветру еще один плакат, то открывая, то закрывая слово «ангсоц». Вдалеке между крышами скользил вертолет, то зависая, как трупная муха, то стремительно уносясь прочь по дуге. Это полицейский патруль бдительно заглядывал в окна граждан. Впрочем, патрулей можно не опасаться. Другое дело полиция помыслов…

За спиной Уинстона голос с телеэкрана вещал о чугуне и перевыполнении Девятой трехлетки. Агрегат одновременно работал на передачу и прием сигнала. Он различал любой звук громче тихого шепота и вдобавок транслировал изображение из комнаты, если ты попадал в зону обзора. Понять, наблюдают за тобой или нет, невозможно. Оставалось лишь гадать, как часто и по какому принципу полиция помыслов подключается к твоему телеэкрану. Не исключено, что следят за всеми круглосуточно. В любом случае могли подключиться когда угодно. Приходилось жить… да что там, ты всегда жил по привычке, давно ставшей инстинктом… исходя из предположения, что любой твой звук слышат и любое движение, кроме как в темноте, тщательно изучают.

Уинстон держался к телеэкрану спиной. Так безопаснее, хотя он прекрасно знал, что даже спина может выдать. Над тусклым от копоти пейзажем возвышалось трехсотметровое белое здание министерства правды – его место работы. Вот он, подумал Уинстон с глухим отвращением, вот он Лондон, главный город Авиабазы-1, третьей по населенности провинции Океании. Уинстон пытался извлечь из памяти хоть какое-нибудь воспоминание о Лондоне своего детства. Всегда ли здесь было так? Всегда ли панораму города составляли гниющие домишки девятнадцатого века, подпертые деревянными балками, с заколоченными фанерой окнами, с крышами из рифленого железа, с расползающимися во все стороны стенами палисадов? А места бомбежек, где в воздухе кружит асбестовая пыль и руины покрываются кипреем, а проломы среди домов мгновенно зарастают убогими деревянными лачугами, похожими на курятники? Без толку. Ему не вспомнить ничего: от детства остались лишь ярко освещенные картинки, вырванные из чего-то целого, большей частью невнятные.

Здание министерства правды (миниправ на новослове[1 - Новослов – официальный язык Океании. Сведения о его структуре и этимологии см. в Приложении. (Примеч. авт.)]) разительно отличалось от других за окном. Громадина пирамиды из сверкающего белого бетона возносилась ввысь

ступенчатыми террасами. С той точки, где стоял Уинстон, на стене высотки отчетливо читались выведенные изящными буквами три лозунга Партии:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР

СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Говорили, что в министерстве правды три тысячи кабинетов над землей и столько же в подземных этажах. По Лондону стояло еще три здания того же вида и размера. Они разительно выделялись на фоне окружающей архитектуры, и с крыши «Дворца Победы» было видно все четыре разом. В них располагались четыре министерства, составляющие правительственный аппарат. Министерство правды занималось информацией, зрелищами, образованием и искусством. Министерство мира ведало военными делами. Министерство любви обеспечивало закон и порядок. Министерство благоденствия решало экономические вопросы. На новослове их названия звучали как миниправ, минимир, минилюб и миниблаг.

Самое жуткое министерство любви, здание без единого окна. Уинстон никогда там не бывал, даже не подходил ближе, чем на полкилометра. Просто так в министерство не попасть, только по долгу службы, да и то миновав настоящий лабиринт из колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Улицы, ведущие к внешней полосе заграждений, патрулировали похожие на горилл охранники в черной униформе, вооруженные резиновыми дубинками.

Уинстон резко отвернулся от окна, придав лицу подобающее перед телеэкраном выражение сдержанного оптимизма, и прошел в крошечную кухню. Покинув министерство так рано, он пожертвовал обедом в столовой, хотя и знал, что дома из еды остался лишь ломоть черного хлеба, да и тот на завтрак. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой наклейкой «Джин Победа». В нос ударил отвратный, маслянистый запах, как от китайской рисовой водки.

Уинстон налил почти полную чашку, собрался с духом и выпил залпом, как лекарство.

Лицо его побагровело, глаза увлажнились. На вкус как азотная кислота, а проглотишь – будто резиновой дубинкой по затылку огрели. Впрочем, вскоре жжение в животе прошло, и Уинстон повеселел. Он достал из смятой пачки «Победа» папиросу, по рассеянности держа ее вертикально, и табак мигом высыпался на пол. Со следующей ему повезло больше. Уинстон вернулся в гостиную и присел за стол слева от телеэкрана. Из ящика он вынул перьевую ручку, чернила и толстый, в четверть листа альбом для записей с красным корешком и обложкой под мрамор.

По неясной причине телеэкран в гостиной был установлен не как положено. Обычно его монтировали с торца, чтобы просматривалось все помещение, но здесь он висел на длинной стене, напротив окна. Сбоку находилось небольшое углубление, где сейчас затаился Уинстон, – вероятно, спроектированное для книжных полок. Сидя в нише и не высовываясь, Уинстон не попадал в поле обзора телеэкрана. Конечно, его могло быть слышно, зато не видно. Отчасти из-за нестандартной планировки квартиры он и задумал то, за что готовился сейчас взяться.

Впрочем, на эту мысль его навела и удивительно красивая, чуть пожелтевшая от времени книга, которую он достал из ящика. Гладкую кремовую бумагу лет сорок как сняли с производства. Уинстон подозревал, что книга еще старше. Он заметил ее в витрине захудалой лавки старьевщика, бродя по трущобам пролов, и тут же загорелся. Членам Партии не полагалось отовариваться в обычных магазинах (так сказать, «приобретать товары на свободном рынке»), но иногда на это смотрели сквозь пальцы: иначе всякими мелочами вроде шнурков или бритвенных лезвий разжиться не получалось. Уинстон оглянулся по сторонам, заскочил в лавку и купил книгу за два с половиной доллара. Он еще и сам не знал, зачем она ему нужна. Поспешно сунув добычу в портфель, он отправился домой. Даже с чистыми страницами книга изрядно компрометировала своего обладателя.

Дело в том, что Уинстон собрался вести дневник. Законом это не запрещалось (в Океании не запрещалось ровным счетом ничего, поскольку никаких законов давно не было), однако, если б дневник нашли, ему грозила бы смерть или в лучшем случае лет двадцать пять в исправительно-трудовом лагере. Уинстон вставил перо в держатель и облизнул, чтобы удалить смазку. Ручки давно вышли

из употребления – их даже для подписи почти не использовали, и Уинстон раздобыл свою украдкой и не без труда; ему казалось, что на красивой бумаге следует писать настоящими чернилами, а не карябать впопыхах химическим карандашом. Вообще-то держать перо он не привык. На работе велась диктовка в речеписец, который по понятным причинам тут совершенно не годился. Уинстон макнул перо в чернила и замер, чувствуя невольный трепет. Стоит коснуться бумаги пером, и возврата не будет. Маленькими корявыми буквами он вывел:

4 апреля 1984 года

Откинулся на стуле. Уинстона охватило чувство полнейшей беспомощности. Прежде всего он вовсе не был уверен, что ныне шел именно 1984 год. Ему тридцать девять лет, родился в сорок четвертом или сорок пятом, но определить дату без погрешности в год или два теперь никому не по силам.

Для кого же его дневник? Уинстон внезапно задумался. Для грядущих поколений, для тех, кто еще не родился? Мысли зависли над сомнительной датой, потом наскочили с размаху на слово «двоемыслие». Впервые до него дошла грандиозность поставленной задачи. Как общаться с будущим? В силу объективных причин это невозможно. Либо оно похоже на настоящее и тогда пропустит его слова мимо ушей, либо вовсе непохоже, и тогда рисковать вообще не имеет смысла.

Он посидел, тупо глядя на бумагу. Телеэкран переключился на бравурный военный марш. У Уинстона возникло чувство, что он не только утратил способность выражать свои мысли, но вообще позабыл, о чем собирался писать. Он готовился к этому неделями, и ему не приходило в голову, что одним мужеством здесь не обойдешься. Водить пером по бумаге несложно. Просто берешь и переносишь на нее нескончаемый внутренний монолог, который ведешь годами. Впрочем, на данный момент иссяк даже он. Вдобавок отчаянно зачесалась язва на правой ноге. Уинстон побоялся ее трогать, чтобы снова не воспалилась. Бежали секунды. Он не замечал ничего, кроме пустой страницы перед собой, зуда в лодыжке, грохота марша и легкого опьянения.

Внезапно Уинстон торопливо застрочил мелким, похожим на детский почерком, едва сознавая, что выходит из-под пера. Строки гуляли по странице то вверх, то вниз, постепенно исчезли заглавные буквы, а следом и знаки препинания:

4 апреля 1984 года. Вчера вечером в кино. Фильмы только про войну. Один очень хорош: там бомбили корабль, набитый беженцами, где-то в Средиземном море. Публика восторгалась кадрами расстрела невероятно огромного толстяка, пытавшегося вплавь удрать от охотившегося за ним вертолета; сначала видишь, как он, будто чудище морское, барахтается в воде, потом видишь его в перекрестье прицела вертолетного пулемета, потом в нем наделали дырок, море вокруг порозовело, и толстяк вдруг камнем пошел ко дну, будто в пробоины от пуль хлынула вода, публика покатывалась от хохота, пока он тонул. потом показали спасательную шлюпку, полную детей, а над ней кружил вертолет. На носу шлюпки сидит средних лет женщина, должно быть, еврейка, с трехлетним малышом на руках. карапуз визжит от страха, прячет голову у нее между грудей будто старается вглубь зарыться а женщина его обнимает и утешает хотя сама посинела от страха, все время укрывает ребенка как может будто ей удастся защитить его от пуль. потом вертолет всаживает 20-килограммовую бомбу шикарный взрыв и шлюпка разлетается в щепки. И тут дивный кадр: детская рука летит вверх вверх вверх прямо в небо наверное камера на носу вертолета засняла и с мест отведенных партийцам бурные аплодисменты зато женщина в части зала для пролов внезапно поднимает крик и вопит не фиг такое показывать в зале дети нипочем нельзя при детях такое показывать пока полиция ее не выводит сомневаюсь что ей всерьез достанется никого не волнует что пролы говорят типичная реакция пролов они никогда…

Уинстон перестал писать, с непривычки руку свело судорогой. Он понятия не имел, зачем выплеснул на бумагу эту чушь. Самое удивительное, что, пока писал, в памяти всплыл другой случай, причем настолько четко, что хоть бери и записывай. Похоже, как раз из-за того-то случая Уинстон и решил вдруг сегодня вернуться домой и засесть за дневник.

Случилось это утром в министерстве, если только про такое призрачное можно сказать, что оно случилось.

Было около одиннадцати, и сотрудники департамента документации, где работал Уинстон, готовились к Двухминутке ненависти: тащили стулья из своих клетушек и рассаживались в центре холла напротив большого телеэкрана. Уинстон занял место примерно посередине, и тут неожиданно подошли еще двое. Он узнал их лица, хотя знаком с ними не был.

Первой шла темноволосая девушка из департамента беллетристики, имени ее Уинстон не знал, но она часто попадалась ему в коридоре с перепачканными маслом руками и гаечным ключом: скорее всего, занималась техобслуживанием аппаратов для написания романов. На вид дерзкая, лет двадцати семи, волосы густые, на лице веснушки, стремительная и спортивная. Поверх комбинезона носит обернутый в несколько раз узкий алый пояс, атрибут Юношеской антисекс-лиги, стянутый в талии ровно настолько, чтобы намекнуть, сколь точены девичьи бедра. Уинстон невзлюбил девушку с первого взгляда, и не без причины: от нее так и веяло здоровым духом спортивных состязаний, ледяного душа, пеших походов и ярой приверженности идеям Партии. Уинстон терпеть не мог почти всех женщин, тем более юных и смазливых. Именно из женщин получались самые фанатичные приверженцы Партии: они слепо верили лозунгам, с готовностью шпионили и доносили, вынюхивали инакомыслящих. Эта же показалась Уинстону особенно опасной. Однажды в коридоре девица бросила быстрый косой взгляд, вонзившийся Уинстону прямо в душу и наполнивший его беспросветным ужасом. Вдруг она агент полиции помыслов? Уинстон сомневался и все же испытывал в ее присутствии непонятную тревогу, смешанную со страхом и жгучей неприязнью.

За нею следовал член Центра Партии по имени О’Брайен, занимающий пост настолько важный и высокий, что Уинстон имел о нем лишь смутные представления. Завидев особу в черном комбинезоне, сидевшие полукругом люди мгновенно умолкли. О’Брайен был крупным, дородным мужчиной с толстой шеей и жестким, насмешливым лицом. Несмотря на брутальную внешность, он обладал определенным шармом и имел привычку поправлять очки на носу совершенно обезоруживающим жестом, делавшим его похожим на дворянина восемнадцатого века, предлагающего собеседнику понюшку табаку (если вдруг кто-то еще мыслит подобными образами). Лет за десять Уинстон видел О’Брайена с десяток раз. Его тянуло к О’Брайену, и не только из-за контраста между обходительными манерами партийца и обликом боксера-тяжеловеса. Уинстон втайне верил – точнее, надеялся, – что политические взгляды О’Брайена не вполне ортодоксальны. Впрочем, могло статься, что на его лице проступало вовсе не инакомыслие, а природная острота ума. В любом случае О’Брайен производил впечатление человека, с кем можно, если обмануть телеэкран, поговорить с глазу на глаз. Подтвердить свою догадку Уинстон даже не пытался… да и как это сделать?

О’Брайен бросил взгляд на наручные часы, увидел, что почти одиннадцать ноль-ноль, и решил задержаться на Двухминутку ненависти в департаменте

документации. Он занял место в том же ряду, что и Уинстон, в паре стульев от него. Между ними сидела маленькая песочная блондинка, работавшая в соседней с Уинстоном кабинке. Темноволосая девушка устроилась прямо позади него.

Телеэкран пульнул по залу жутким лязгом, потом заскрежетало, словно пришел в движение огромный несмазанный механизм. От этих звуков у всех присутствующих свело зубы и волосы встали дыбом. Пошла Ненависть.

Как обычно, на экране возникло лицо Эммануэля Гольдштейна, врага народа. Раздались протестующие фырканья. Маленькая блондинка взвизгнула от ужаса и отвращения. Гольдштейн был отступником и изменником, который давным-давно, никто уже и не помнил когда, занимал один из ключевых постов в Партии, чуть ли не наравне с Большим Братом, потом занялся контрреволюционной деятельностью, получил смертный приговор, непонятно как совершил побег и исчез. Программы Двухминуток ненависти менялись ежедневно, но не было ни одной, где Гольдштейн не был бы главной фигурой. Он был первородным изменником, первейшим осквернителем чистоты Партии. Все преступления против Партии, все предательства, диверсии, любое инакомыслие и уклонизм прорастали непосредственно из его учения. Отыскать его никак не удавалось: он то ли вынашивал свои заговоры где-то за границей, под защитой иностранных покровителей, то ли, если верить слухам, затаился в тайном логове в самой Океании.

У Уинстона перехватило дыхание. Внешность Гольдштейна всегда вызывала в нем болезненную смесь чувств. Постное еврейское лицо в пышном ореоле седых волос, козлиная бородка… – лицо умное и при том какое-то врожденно мерзкое, со стариковской придурью, проступавшей в манере носить очочки на самом кончике длинного тонкого носа. Оно походило на овечью морду, да и блеющий голос был ему под стать. Как обычно, Гольдштейн принялся злобно глумиться над доктриной Партии, причем его грязные инсинуации звучали настолько чудовищно, что не обманули бы и младенца. Впрочем, правдоподобия им хватало, и это наполняло слушателей тревогой, как бы другие, менее здравомыслящие, им не вняли. Гольдштейн оскорблял Большого Брата, клеймил диктатуру Партии, требовал немедленного заключения мира с Евразией, выступал за свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу мысли, истерично вопил, что идеалы революции преданы, – и все это скороговоркой, с использованием многосоставных слов, пародируя манеру речи партийных ораторов, он даже вставлял в речь привычные обороты новослова, причем

гораздо чаще, чем любой член Партии. При этом, дабы никто не усомнился в подлинной сущности того, что скрывается за лживыми, трескучими фразами Гольдштейна, на заднем плане маршировали бесчисленные шеренги евразийской армии, ряд за рядом шагали могучие азиаты с бесстрастными лицами, и глухой грохот солдатских сапог служил фоном блеянию Гольдштейна.

С начала Ненависти прошло каких-нибудь полминуты, а половина зрителей уже не могла сдерживать негодующих возгласов. Смотреть на самодовольную овечью морду на фоне ужасающей мощи евразийской армии было невыносимо, к тому же сам вид Гольдштейна и даже мысль о нем рефлекторно вызывали страх и гнев. Он стал объектом общественной ненависти гораздо более постоянным, чем Евразия или Востазия, поскольку Океания поочередно воевала с одной сверхдержавой и находилась в состоянии мира с другой. Гольдштейна ненавидели и презирали все, каждый день и по тысяче раз на дню с трибун, с телеэкранов, со страниц газет и книг его теории опровергали, разносили в пух и прах, высмеивали, выводили на чистую воду, но, как ни странно, влияние его не уменьшалось. Всегда находились простофили, только и ждавшие, чтобы он их совратил. Не проходило и дня, чтобы полиция помыслов не разоблачила новых шпионов и диверсантов, которые действовали по его указке. Он командовал огромной призрачной армией, подпольной сетью заговорщиков, стремившихся к свержению власти. Звалась она, по слухам, Братством. Еще ходили слухи об ужасной книге, средоточии всех ересей, написанной самим Гольдштейном, которую тайно передавали из рук в руки. Названия у нее не было. Люди, если вообще отваживались заговорить об этом, так и называли – Книга. Кроме неясных слухов, мало что удавалось узнать: рядовые члены Партии старались вообще не упоминать в разговорах ни Братство, ни Книгу.

На второй минуте ненависть вылилась в исступление. Люди вскакивали с мест и орали во всю глотку, пытаясь заглушить бесившее их блеяние с экрана. Маленькая блондинка от натуги стала малиновой и разевала рот, как выброшенная на берег рыба. Грузное лицо О’Брайена налилось краской. Он сидел очень прямо, мощная грудь вздымалась и вздрагивала, словно он пытался устоять в полосе прибоя. Темноволосая позади Уинстона сорвалась в крик: «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» – и вдруг схватила тяжелый «Словник новослова» и швырнула в экран. Книга ударила Гольдштейна по носу и отскочила, а голос неумолимо продолжал вещать… В редкий момент просветления Уинстон поймал себя на том, что кричит вместе со всеми и яростно колотит ногами по нижней перекладине стула.

Самое ужасное в Двухминутке ненависти не то что приходится играть навязанную роль, а наоборот, то, что не играть ее невозможно. Уже через полминуты надобность в притворстве отпадает сама собой. Присутствующих охватывает чудовищное упоение страхом и жаждой мести, желание убивать, пытать, лупить по головам кувалдой – словно через них пропустили электрический разряд, и они против своей воли обратились в оскаленных, визжащих психов. И эту ярость, чувство отвлеченное, ненаправленное, можно переводить с одного объекта на другой, как пламя паяльной лампы. Внезапно ненависть Уинстона перекинулась с Гольдштейна на Большого Брата, на Партию и полицию помыслов: в такие моменты он чувствовал, что сердце его на стороне одинокого, осмеянного еретика на экране, единственного хранителя истины и здравомыслия в мире лжи. И все же в следующий миг он снова был заодно со всеми и верил всему, что говорили про Гольдштейна. В такие моменты тайная ненависть к Большому Брату обращалась в обожание, а фигура его, бесстрашного защитника, несокрушимого оплота, скалы на пути азиатских орд, возносилась ввысь. Гольдштейн же, несмотря на свою отверженность, беспомощность и сомнения в самом его существовании, представал гнусным чародеем, способным силой своего голоса погубить всю державу.

В иные моменты усилием воли удавалось переключить ненависть с одного объекта на другой. Резко, как отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон направил свою ненависть с лица на экране на сидевшую позади него темноволосую девушку. Перед мысленным взором замелькали яркие, дивные видения. Можно забить ее до смерти резиновой дубинкой, привязать голой к столбу и утыкать стрелами, как святого Себастьяна, совратить и перерезать горло на пике экстаза… Уинстон наконец понял, почему так ее ненавидит: потому что она юная, красивая и холодная, потому что он хочет с ней переспать, но из этого ничего не выйдет, потому что вокруг ее изящной, гибкой талии – словно созданной для объятий – алеет гнусный пояс, фанатичный символ целомудрия.

Ненависть достигла апогея. Голос Гольдштейна превратился в блеяние, лицо – в овечью морду, затем плавно перетекло в исполинскую фигуру евразийского солдата с ревущим автоматом, который двигался навстречу зрителям, грозя прорваться сквозь экран. Первые ряды в ужасе отшатнулись, и тут раздался всеобщий вздох облегчения: сквозь фигуру врага постепенно проступило лицо Большого Брата: черноволосое, с густыми усами, полное силы и таинственного спокойствия, такое огромное, что заняло почти весь экран. Голоса Большого Брата не было слышно. Скорее всего, он сказал что-то ободрительное, вроде тех слов, которые произносят в пылу битвы: по отдельности их не разобрать, но

боевой дух они поднимают. Затем лицо Большого Брата снова поблекло, и на экране появились три лозунга Партии, набранные жирным шрифтом:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР

СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Лицо Большого Брата зависло на экране, словно отпечаталось на сетчатке так ярко, что не могло исчезнуть сразу. Маленькая блондинка перевесилась через спинку стула перед собой, простерла руки к экрану и страстно воскликнула: «О, мой спаситель!» Затем закрыла лицо ладонями и зашептала молитву.

И тут все присутствующие начали ритмично скандировать «Бэ-Бэ! Бэ-Бэ!» – снова и снова, очень медленно, с большой паузой между первой и второй «бэ» – тяжелый, вибрирующий звук, на фоне которого чудился топот босых ног и бой тамтамов. Продолжалось это с полминуты. Такой рефрен рождался сам собой в моменты наивысшего накала эмоций. Отчасти он был гимном мужеству и величию Большого Брата, но в значительной степени самогипнозом, нарочитым вхождением в транс с помощью ритмической кричалки. Уинстон похолодел от ужаса. В течение Двухминутки ненависти он и сам поддавался всеобщему безумию, но этот дикарский ритм всегда вгонял его в дрожь. Конечно же, он скандировал вместе со всеми. Скрывать свои чувства, контролировать выражение лица, делать то же, что все, – реакция инстинктивная. И в этот миг случилось нечто важное… если только ему не померещилось.

Он поймал на себе взгляд О’Брайена. Тот уже поднялся, протер очки и широким жестом устраивал их на носу. На долю секунды, когда их глаза встретились, Уинстон понял: О’Брайен думает то же самое, что и он. Ошибиться невозможно: их разумы открылись друг другу и мысли хлынули потоком. «Я с вами, – говорили глаза О’Брайена. – Я знаю, что вы чувствуете. Я вижу ваше презрение, ненависть, отвращение. Но не бойтесь, я на вашей стороне!» Потом глаза О’Брайена погасли, и лицо стало таким же невозмутимым, как и у всех

остальных.

Непонятно, показалось Уинстону или нет. Продолжения такие инциденты никогда не имели, зато помогали верить или хотя бы надеяться, что помимо него у Партии есть и другие враги. Возможно, слухи о подпольных заговорах – правда и Братство действительно существует! Впрочем, несмотря на бесчисленные аресты, признания и казни, не исключено, что Братство – просто миф. Иногда Уинстон в него верил, иногда нет. Доказательств не было никаких, лишь мимолетные проблески: обрывки чужих разговоров, каракули на стенах уборных, едва уловимый жест, похожий на условный сигнал, при встрече двух незнакомцев. Оставалось только гадать. Даже не взглянув на О’Брайена, Уинстон вернулся в свою кабинку. Закрепить их мимолетную связь он не рискнул, да и не представлял как. За секунду или две они обменялись двусмысленным взглядом, и все. Но для человека настолько одинокого и замкнутого, как он, даже это – целое событие.

Уинстон встрепенулся, сел прямо и рыгнул – джин подкатил к горлу.

Его взгляд упал на страницу. Пока он беспомощно размышлял, рука машинально продолжала писать. И почерк уже не был таким корявым и неуклюжим, как раньше. Перо самозабвенно скользило по гладкой бумаге, выводя аккуратными печатными буквами:

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

– и еще раз, и еще, и так на полстраницы.

Уинстон против воли ощутил приступ паники. Глупость по сути: написать именно эти слова было ничуть не опаснее, чем взяться вести дневник, – но в тот миг его так и подмывало вырвать испорченные страницы и отказаться от своей затеи.

Впрочем, этого он не сделал, потому как понимал: бесполезно. Без разницы, написал ли он: «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА» – или сумел сдержать себя. Без разницы, продолжит он вести дневник или нет. Полиция помыслов все равно до него доберется. Он уже совершил… и совершил бы, даже никогда не коснувшись пером бумаги… главное преступление, которое вбирало в себя все прочие. Помыслокриминал, так это называлось. Скрывать помыслокриминал вечно не выйдет. Какое-то время, даже несколько лет, может, и повезет, но рано или поздно им просто суждено тебя взять.

И всегда ночью: аресты неизменно производились ночью. Внезапный толчок вырывает из сна, чья-то грубая лапа трясет за плечо, свет, бьющий прямо в глаза, кольцо суровых лиц вкруг кровати. В большинстве случаев не бывало ни суда, ни сообщения об аресте. Люди просто исчезали – всегда за время ночи. Имя убиралось из документов, сведения обо всем, тобой содеянном в жизни, вымарывались, сам факт твоего былого существования отрицался, и вскоре тебя забывали. Тебя отменяли, аннулировали: ты испарялся, так обычно говорили.

На мгновение Уинстона охватило нечто вроде истерии. Он принялся торопливо писать корявыми каракулями:

меня пристрелят мне плевать застрелят меня в затылок мне плевать долой большого брата они всегда стреляют в затылок мне плевать долой большого брата…

Он откинулся на стуле, слегка устыдившись себя, и отложил перо. В следующий миг его будто током дернуло. Раздался стук в дверь.

Уже! Он сидел тихо, как мышка, отчаянно надеясь, что незваный гость уйдет, не дождавшись ответа. Увы, стук повторился. Хуже всего было тянуть время.

Сердце стучало, как барабан, но лицо Уинстона не выражало ровным счетом ничего – сказывалась многолетняя привычка. Он встал и через силу двинулся к двери.

II

Взявшись за дверную ручку, Уинстон вспомнил, что оставил дневник открытым на странице, сплошь исписанной фразой: «Долой Большого Брата», – причем буквами довольно крупными, чтоб и издалека разобрать. Ничего глупее нельзя было сделать. Однако, даже паникуя, он не хотел марать красивую бумагу, захлопнув книгу с непросохшими чернилами.

Набрав в грудь воздуху, Уинстон открыл дверь. И тут же его окатила теплая волна облегчения. На пороге стояла бесцветная, затравленная женщина с редкими растрепанными волосами и морщинистым лицом.

– Вы все-таки дома, товарищ, – заныла она тоскливым, жалобным голосом. – Не заглянете к нам на минутку? Раковина на кухне засорилась…

Миссис Парсонс, жена соседа по этажу. Вроде бы слово «миссис» осуждалось Партией – теперь всех следовало называть «товарищ», но к некоторым женщинам оно липло само собой. Ей было около тридцати, хотя на вид гораздо больше: такое чувство, что в морщинки на лице въелась пыль. Уинстон зашагал по коридору, проклиная про себя нескончаемые мелкие поломки. «Дворец Победы» построили когда-то в тридцатых, и он буквально разваливался на части. С потолка и стен сыпалась штукатурка, в мороз лопались трубы, стоило выпасть снегу, как текла крыша, вдобавок из-за постоянной экономии топили редко и вполсилы. С чем могли, жильцы справлялись сами, остальными ремонтными работами распоряжались какие-то сомнительные комитеты, которые по два года тянули с банальной заменой разбитого стекла.

– Понимаете, будь мой Том дома… – бормотала миссис Парсонс.

Соседская квартира была больше, чем у Уинстона, и выглядела так, словно в ней бушевал крупный дикий зверь. На полу валялся спортивный инвентарь:

хоккейные клюшки, боксерские перчатки, рваный футбольный мяч, вывернутые наизнанку трусы. На столе громоздились грязная посуда и растрепанные школьные тетрадки. Стены украшали красные знамена Юношеской лиги и Разведчиков, огромный плакат изображал Большого Брата во весь рост. Стоял обычный для всего дома варено-капустный аромат, сквозь который едко шибал в нос запах (он распознавался сразу, хотя и не очень понятно как) пота человека, кого сейчас рядом нет. В другой комнате кто-то выдувал на расческе, обернутой в клок туалетной бумаги, военный марш, пытаясь попасть в такт все еще льющейся с телеэкрана музыке.

– Дети… – молвила миссис Парсонс, с опаской покосившись на дверь.

У нее была привычка обрывать фразы, недоговорив. В кухонной раковине почти у краев плескалась зеленоватая жижа, вонявшая похуже вареной капусты. Уинстон опустился на колени и изучил угловой стык сливной трубы. Он терпеть не мог работать руками, он терпеть не мог нагибаться, потому что сразу начинал надсадно кашлять. Миссис Парсонс смотрела на него с мольбой.

– Конечно, будь Том дома, вмиг бы управился. Он обожает все чинить! Том у меня малый рукастый.

Парсонс работал, как и Уинстон, в министерстве правды. Шустрый толстяк, он ошарашивал всех своей глупостью, сгусток идиотского энтузиазма, он был из тех ретивых, безоговорочно преданных делу работяг, от которых стабильность Партии зависела чуть ли не больше, чем от полиции помыслов. Из Юношеской лиги его выпихнули в тридцать пять, а перед вступлением в Лигу он умудрился засидеться в Разведчиках на год дольше положенного возраста. В министерстве Парсонса держали на подчиненных должностях, где особого ума не требовалось, зато он стал ведущей фигурой в Спортивном комитете и всех других комитетах, которые организовывали пешие походы, спонтанные демонстрации, кампании за экономию и прочие добровольные мероприятия. Попыхивая трубкой, он со сдержанной гордостью сообщал, что за последние четыре года не пропустил ни единого вечера в Доме культуры. Парсонса повсюду сопровождал одуряющий едкий запах пота, своего рода свидетельство напряженной общественной жизни, висел в воздухе, даже когда мужчина уходил.

– Гаечный ключ есть? – спросил Уинстон, возясь с гайкой на стыке.

– Гаечный? – растерянно повторила миссис Парсонс. – Не знаю… Может, дети…

Громко топая и трубя в расчески, в гостиную ворвались дети. Миссис Парсонс принесла ключ. Уинстон слил воду и с отвращением извлек забившие трубу волосы. Кое-как сполоснув руки холодной водой, он вышел из кухни.

– Руки вверх! – раздался дикий крик.

Из-за стола выскочил симпатичный, крепкий мальчуган лет девяти и наставил на Уинстона игрушечный автоматический пистолет, а его сестра, на пару лет младше, подражая брату, вскинула палку. Дети были в форме Разведчиков: синие шорты, серые рубашки и красные галстуки. Уинстон послушно поднял руки над головой, но ему стало нехорошо: в окрике ребенка звучала такая злоба, что игрой тут и не пахло.

– Ты предатель! – орал мальчишка. – Помыслокриминал! Евразийский шпион! Я тебя застрелю, сотру в порошок, пошлю на соляные копи!

И вот уже оба ребенка заскакали вокруг Уинстона с воплями «Предатель!» и «Помыслокриминал!», причем девочка повторяла каждое движение брата. Зрелище слегка пугало, как игра зверенышей, из которых вырастут тигры-людоеды. Во взгляде мальчугана читались расчетливая жестокость, явное желание ударить или пнуть соседа и осознание того, что совсем скоро такое будет ему по силам. Хорошо хоть пистолет ненастоящий, подумал Уинстон.

Взгляд миссис Парсонс заметался от гостя к детям и обратно. Освещение в гостиной было ярче, и Уинстон с интересом отметил, что в складки ее лица и в самом деле набилась пыль.

– Вот ведь расшумелись, – пробормотала женщина. – Расстроились, что на казнь не попали. У меня дел полно, Том на работе.

– Почему мы не пошли на казнь?! – проревел мальчик во все горло.

– Хочу смотреть на казнь! Хочу смотреть на казнь! – скандировала его сестрица, пританцовывая.

Уинстон вспомнил, что вечером в парке намечено вешать евразийских пленных, виновных в военных преступлениях. Массовое зрелище происходило примерно раз в месяц, и дети всегда шумно требовали, чтобы их взяли посмотреть. Уинстон, попрощавшись с миссис Парсонс, пошел к двери. Не успел он пройти по коридору и шести шагов, как шею обожгло болью, в нее словно воткнули раскаленный провод. Уинстон резко обернулся: миссис Парсонс затаскивала в квартиру сына, сующего в карман рогатку.

– Гольдштейн! – рычал ребенок, исчезая за дверью. Больше всего Уинстона впечатлило выражение беспомощности на посеревшем лице женщины.

В своей квартире он торопливо шмыгнул мимо телеэкрана и снова сел за стол, потирая шею. Музыка прекратилась. Отрывистый военный голос со свирепым наслаждением перечислял вооружение новой Плавучей крепости, вставшей на якорь между Исландией и Фарерскими островами.

С такими детьми, подумал Уинстон, жизнь несчастной женщины – сплошной ужас. Годик-другой, и они примутся шпионить за ней день и ночь, надеясь подловить на инакомыслии. Сейчас почти все дети такие. Самое страшное, что организации вроде Разведчиков целенаправленно превращают детей в неуправляемых зверят. Как ни странно, желания бунтовать против Партии у них не возникает. Наоборот, они обожают Партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, транспаранты, ходьба строем, тренировки с муляжами винтовок, выкрикивание лозунгов, поклонение Большому Брату – для них это упоительная игра. Вся детская ярость направлена вовне: против врагов державы, против иностранцев, предателей, диверсантов, помыслокриминалов. Бояться собственных детей стало почти обыденностью для родителей, кому слегка за тридцать. Недаром и недели не проходит без того, чтобы «Таймс» не сообщила об очередных мелких проныра́х (официально таких называют «маленькими героями»), подслушавших взрослый разговор и сдавших родителей полиции помыслов.

Жжение в шее прошло. Уинстон нерешительно взялся за перо, гадая, удастся ли записать в дневник еще что-нибудь. Внезапно ему снова вспомнился О’Брайен.

Давным-давно, лет семь назад, Уинстону приснилось, что он бредет в кромешной темноте. И вдруг голос сбоку тихо произнес: «Мы встретимся там, где нет темноты». Прозвучала фраза как бы между прочим. Он прошел не останавливаясь. Любопытно, что во сне слова не произвели на него особого

впечатления. В полной мере Уинстон проникся ими не сразу, а гораздо позже. Он не помнил, когда впервые увидел О’Брайена, до или после того сна, не помнил, когда впервые осознал, что голос из сна принадлежит О’Брайену. Так или иначе, одно Уинстон знал наверняка: из темноты с ним заговорил именно О’Брайен.

Даже после сегодняшнего обмена взглядами Уинстону так и не удалось разобраться, друг О’Брайен или враг. Впрочем, какая разница? Между ними возникло понимание. Такие узы связывают гораздо крепче, чем узы любви или дружбы. «Мы встретимся там, где нет темноты», – пообещал тот. Уинстон не понимал, что это значит, лишь чувствовал, что так или иначе это сбудется.

Телеэкран умолк. В спертом воздухе раздался чистый, красивый звук военного горна. Голос отрывисто продолжил:

– Внимание! Внимание! Экстренное сообщение с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали важную победу. Я уполномочен объявить, что сегодняшние события могут значительно приблизить окончание войны. Смотрите сводку…

Грядут плохие новости, подумал Уинстон. И точно: следом за кровавыми подробностями уничтожения евразийской армии, после перечисления количества убитых и взятых в плен объявили, что со следующей недели норма шоколада на душу населения сократится с тридцати граммов до двадцати.

Уинстон снова рыгнул. Джин выветривался, после него оставалось ощущение опустошенности. Телеэкран разразился бравурными звуками гимна «Океания, все для тебя», то ли отпраздновать победу над Евразией, то ли заглушить боль от утраты шоколада. Гимн полагалось слушать по стойке смирно, но Уинстон воспользовался тем, что за столом его не видно.

«Океания, все для тебя» сменилась музыкой полегче. Уинстон подошел к окну, держась к телеэкрану спиной. Погода все такая же холодная и ясная. Вдалеке глухо, раскатисто проревело, взорвалась авиабомба. Каждую неделю таких на Лондон сбрасывали около двадцати или тридцати.

На улице ветер судорожно трепал рваный плакат, и слово «АНГСОЦ» то появлялось, то исчезало. Ангсоц. Заветные принципы ангсоца. Новослов, двоемыслие, непостоянство прошлого. Уинстон словно бродил по подводному

лесу на дне океана, заблудившись в мире чудищ, где ты и сам чудище. Он один. Прошлое мертво, будущее вообразить нельзя. Разве можно рассчитывать, что обретешь хотя бы одного сторонника? Как узнать, что владычество Партии не будет длиться вечно? Как ответ всплыли в памяти три лозунга на белой стене министерства правды:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР

СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Уинстон достал из кармана монетку в двадцать пять центов. На ней мелким шрифтом выбиты те же лозунги, на обороте – голова Большого Брата. Глаза следят за тобой даже с монет, с марок, с обложек книг, с растяжек поперек улиц, с плакатов, с папиросных пачек – отовсюду. Глаза следят, голос обволакивает. Спишь ты или бодрствуешь, работаешь или отдыхаешь, моешься в ванне или лежишь в постели – от них не укрыться. У тебя нет ничего своего, кроме нескольких кубических сантиметров внутри собственного черепа.

Солнце ушло, бесчисленные окна министерства правды погасли и стали похожи на мрачные бойницы крепости. При виде огромадной пирамиды Уинстон совсем пал духом. Слишком крепка: приступом не возьмешь. Такую и тысячей ракетных боеголовок не сшибешь. Уинстон снова задумался, ради чего взялся за дневник. Ради будущего, ради прошлого – ради времени, которое, может, лишь грезится. Перед ним же маячила не смерть, а уничтожение. Дневник превратят в пепел, его самого – в испарение. Лишь полиция помыслов прочтет им написанное, прежде чем изъять это из бытия и из памяти. Как взывать к будущему, если от тебя не останется ни следа, ни даже невесть кем написанного словца на клочке бумаги?

Телеэкран пробил четырнадцать. Еще десять минут, и надо выходить: обеденный перерыв заканчивался через полчаса.

Как ни странно, бой часов подкрепил его дух. Уинстон был одиноким призраком, шепчущим правду, которую никому не услышать. Только пока он ее шепчет, каким-то неясным образом связь времен не рвется. Наследие человечества несет не тот, кого слышат, а тот, кто сохраняет рассудок. Он вернулся к столу, макнул перо в чернильницу и записал:

Из эпохи уравниловки, из эпохи одиночества, из эпохи Большого Брата, из эпохи двоемыслия приветствую будущее или прошлое, времена, когда мысль свободна, когда люди отличаются один от другого и не живут поодиночке, времена, где существует правда и сделанное нельзя переиначить!

Он уже мертвец, подумал Уинстон. Показалось, что только теперь, взявшись и обретя способность выражать мысли на бумаге, он и предпринял решающий шаг. Последствия любого поступка в самом же поступке и содержатся. Он вывел:

Помыслокриминал не влечет за собой смерть: он и есть смерть.

Теперь, осознав себя мертвецом, Уинстон понял, как важно оставаться в живых как можно дольше. Пальцы правой руки запачкались в чернилах. Именно такая деталь и может выдать. Какой-нибудь пронырливый товарищ в министерстве (скорее всего, женщина – вроде той тощей блондинки или девицы из департамента беллетристики) начнет интересоваться, почему ты работал во время обеденного перерыва, почему воспользовался старомодным пером, что именно писал, и сообщит куда следует. Уинстон пошел в ванную и тщательно смыл чернила шершавым, как наждак, темно-коричневым мылом: для этой цели оно годилось прекрасно.

Дневник он убрал в ящик стола. Прятать не имеет смысла, зато по крайней мере можно проверить, обнаружили его или нет. Волосок поперек уголка сразу бросится в глаза. Подцепив ногтем едва заметную крупинку белесой пыли, Уинстон перенес ее на угол обложки: если книгу подвинуть, непременно слетит.

III

Уинстону снилась мама.

Когда она исчезла, ему было, если подсчитать, лет десять-одиннадцать. Высокая, статная, молчаливая женщина с плавной грацией и великолепными светлыми волосами. Отец помнился более смутно: смуглый, худой, всегда в опрятной темной одежде (Уинстону почему-то особенно запали в память его туфли на тонкой подошве) и в очках. Оба, очевидно, сгинули еще в одной из первых великих чисток пятидесятых годов.

А сейчас мама сидела где-то далеко внизу с его младшей сестренкой на руках. Сестру он не помнил совсем, разве что тщедушной крошкой, всегда молчавшей, с большими настороженными глазами. Взгляды обеих устремлены вверх на него. Обе находились в каком-то углублении: то ли на дне колодца, а может, и очень глубокой могилы – и опускались все глубже. Вот уже они в кают-компании тонущего корабля, смотрят вверх на него сквозь темную толщу воды. В каюте еще есть воздух, им еще видно его, а ему их, но они неудержимо все глубже и глубже тонут в зеленых водах, еще миг – и те поглотят их навсегда. Уинстон на свету и свежем воздухе, а их засасывает темная смерть, и они там, в пучине, потому что он тут, наверху. Он понимает: они об этом знают, знание этого он читает на их лицах. Но ни на их лицах, ни в их сердцах нет никакого укора, лишь осознание: они должны умереть, чтобы он мог остаться в живых, ибо таков неизбежный порядок вещей.

Что именно случилось, он не помнил. Зато во сне понимал: так или иначе, но жизни мамы и сестры были принесены в жертву ради его собственной. Такие сны, обставленные всякий раз одинаково, словно продолжают твою интеллектуальную жизнь: на фоне вымышленного пейзажа разворачиваются события духовной жизни и приходят откровения, которые кажутся значимыми и после пробуждения. Уинстона поразило, что смерть матери, случившаяся почти тридцать лет назад, трагична и печальна в смысле, который уже утрачен. Трагедия осталась в прошлом, в том времени, когда еще существовало право человека на личную жизнь, на любовь и дружбу, когда родные поддерживали друг друга в трудную минуту, не задаваясь лишними вопросами. Память о матери рвала ему сердце, потому как она гибла, любя его, хотя сам Уинстон был слишком мал и эгоистичен, чтобы любить в ответ. Мама отдала свою жизнь бескорыстно, исходя из высокой и неизменной идеи преданности. Ныне, он

понимал, такое невозможно. Ныне существуют страх, ненависть и боль, но нет ни благородства чувств, ни глубокой и стойкой скорби. Все это Уинстон, похоже, прочел в огромных глазах матери и сестры, когда те смотрели на него из глубины в сотни морских саженей и погружались в зеленую воду.

И вот он уже на маленькой пружинящей лужайке, стоит под летним закатным солнцем, чьи косые лучи золотили все вокруг. Этот пейзаж снился ему часто, и Уинстон уже не знал, видел ли он его в реальном мире или только во сне. Пробуждаясь, он мысленно называл это Золотой страной. Старый выгон, изрытый кроличьими норами, с вьющейся тропинкой и редкими кротовинами. На другом конце запущенная живая изгородь, торчащие ветви вязов с густыми листьями напоминают пышные женские прически и тихонько покачиваются на ветру. Неподалеку струится чистый ручей, где в зеленых заводях под ивами плавают ельцы.

Через поле к нему шла темноволосая девушка. Она стремительно сорвала с себя одежду и небрежно отшвырнула в сторону. Тело у нее было белое и гладкое, оно не вызвало в нем ни малейшего желания, на тело Уинстон едва взглянул. Поразило именно движение руки, каким девушка отбросила одежду. Казалось, сквозившие в нем грация и беззаботность смели с лица земли целую культуру, целую систему взглядов – одним бесподобным жестом отправлены в небытие и Большой Брат, и Партия, и полиция помыслов. Жест явно принадлежал прошлым эпохам. Уинстон проснулся с именем Шекспира на губах.

Телеэкран разразился пронзительным свистом, продолжавшимся на одной ноте тридцать секунд. Семь пятнадцать, пора вставать конторским служащим. Уинстон выбрался из кровати (голый, потому что Массам Партии полагалось в год всего 3000 купонов на одежду, а пижама стоила 600) и схватил со стула заношенную майку и трусы. Физзарядка начнется через три минуты. И вдруг он согнулся пополам в приступе кашля, всегда нападавшего на него после подъема. В легких не осталось ни глотка воздуха, и, чтобы продышаться, пришлось лечь на спину и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. От натуги вздулись вены, язва на ноге зудела с новой силой.

– Группа от тридцати до сорока! – пронзительно выкрикнул женский голос. – Группа от тридцати до сорока! Встали по местам. От тридцати до сорока!

Уинстон вытянулся по стойке смирно перед телеэкраном, на котором уже появилась моложавая женщина, сухощавая, но мускулистая, в гимнастерке и

спортивных тапках.

– Руки согнули и потянулись! – командовала она. – Повторяйте за мной! Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре! Ну же, товарищи, больше жизни! Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре!..

Боль от приступа кашля не вполне вырвала Уинстона из недавнего сна, а ритмичные движения зарядки даже помогали вернуться в него снова. Машинально размахивая руками с выражением сосредоточенной радости на лице, которую полагалось выказывать во время физзарядки, он погружался в смутные воспоминания раннего детства. Давалось это с огромным трудом. До конца пятидесятых все виделось словно в тумане. Когда памяти не за что ухватиться вовне, то даже события собственного прошлого теряют четкость. Помнишь крупные события, которых могло и не быть, помнишь мелкие подробности, но не можешь воссоздать фон, на каком они происходили, к тому же полно долгих пустых промежутков, о которых не известно ничего. Тогда все было иным, изменились даже названия стран и их очертания на карте. К примеру, Авиабаза-1 прежде называлась Англия или Британия, хотя Уинстон был вполне убежден, что Лондон названия не менял.

Уинстон не помнил, чтобы страна ни с кем не воевала, хотя наверняка на его детство пришелся довольно длинный промежуток мирного времени, поскольку одно из самых ранних воспоминаний – воздушный налет, застигший всех врасплох. Наверное, это случилось, когда на Колчестер сбросили атомную бомбу. Сам налет память Уинстона не сохранила, зато он помнил, как отец крепко держит его за руку и они спешат вниз, вниз, вниз под землю, спускаясь по спиральной лестнице, и та гудит под ногами. Он расхныкался от усталости, и им пришлось остановиться, чтобы передохнуть. Мама брела в своей привычной, задумчивой манере и довольно сильно отстала. Она несла его сестренку или просто узел с одеялами: Уинстон не помнил, родилась ли тогда сестра или еще нет. Наконец они вошли в шумное, забитое людьми помещение – на станцию метро, как он теперь догадывался.

Люди сидели по всей выложенной каменной плиткой платформе, другие теснились друг над другом на двухъярусных железных койках. Уинстон, мама и отец отыскали себе место на полу, рядом с ними на койке сидела пожилая пара. Старик был в добротном темном костюме и черном кепи на совершенно седых волосах, лицо красное, голубые глаза полны слез. От него так сильно несло джином, словно тот сочился у него из пор вместо пота и слезами катился по

щекам. Выпивший явно страдал от невыносимого горя. Уинстон по-детски рассудил, что случилось нечто ужасное, такое, чего нельзя простить и нельзя исправить. Ему казалось, он знает, в чем дело. У старика убили близкого человека, маленькую внучку, к примеру. Время от времени тот повторял: «Зря мы им поверили. Говорил же тебе, ма! Вот чем это заканчивается… Ведь говорил же! Не надо было доверять этим шельмам». Каким именно шельмам не следовало доверять, Уинстон вспомнить уже не мог.

Примерно с тех пор война шла практически непрерывно, точнее, войны следовали одна за другой. Несколько месяцев на улицах Лондона велись беспорядочные бои, некоторые Уинстон отчетливо запомнил. Впрочем, проследить историю тех событий, сказать наверняка, кто, с кем и когда сражался, совершенно невозможно, ведь не осталось ни письменных свидетельств, ни устных, которые отличались бы от официальной линии. К примеру, сейчас, в 1984 году (если он действительно 1984-й), Океания вела войну против Евразии и держала союз с Востазией. Ни публично, ни в частной беседе и речи не шло, что расстановка сил когда-либо менялась. На самом деле Уинстон отлично знал, что всего четыре года назад Океания воевала с Востазией и союзничала с Евразией, но владел этим знанием украдкой, да и то лишь потому, что не держал, как следовало, память под контролем. Официально смена противников и союзников никогда не признавалась. Океания воюет с Евразией, стало быть, Океания всегда воевала с Евразией. Нынешний враг воплощает абсолютное зло, следовательно, любые прошлые или будущие договоренности с ним исключены.

Ужас в том, думал он в десятитысячный раз, с натугой двигая плечами («руки на поясе, совершаем круговые движения корпусом, отлично растягивает мышцы спины»), ужас в том, что все это может оказаться правдой. Ведь, если Партия способна наложить свои лапы на прошлое и заявить, что того или иного события не было вовсе, такое наверняка ужаснее любых пыток и смерти?

Партия утверждает, что Океания никогда не заключала союз с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что всего четыре года назад Океания состояла в альянсе с Евразией. И где же это знание? Лишь в его сознании, которое в любом случае вскоре будет уничтожено. Если остальные приняли навязанную Партией ложь, если все документы свидетельствуют об одном и том же, значит, ложь входит в историю и становится правдой. «Кто контролирует прошлое, – гласит лозунг Партии, – контролирует будущее; кто контролирует настоящее, контролирует прошлое». И все же прошлое, хотя по природе своей изменчиво, не менялось

никогда. То, что правда сейчас, было правдой во веки веков. Все очень просто. Нужно лишь непрерывно одерживать победы над своей памятью. «Контролем над реальностью» называлось это: «двоемыслие» на новослове.

– Вольно! – гаркнула телеинструктор чуть добродушнее.

Уинстон опустил руки по швам и медленно наполнил легкие воздухом. Его мысли скользнули в лабиринты двоемыслия. Знать и не знать, сознавать истинное положение вещей и одновременно говорить тщательно продуманную ложь, придерживаться двух противоположных мнений и верить, что истинны оба, использовать логику против логики, отвергать мораль, претендуя на нее, верить, что демократия невозможна и что Партия – столп демократии, забывать все, что необходимо забыть, затем извлекать по приказу и снова послушно забывать, и главное, применять эту процедуру к самой процедуре. Вот в чем основная тонкость: сознательно лишаться сознательности, а потом вновь, еще раз утрачивать осознание акта самогипноза, тобою же только что проделанного. Даже для понимания слова «двоемыслие» необходимо прибегнуть к двоемыслию.

Инструктор вновь поставила их по стойке смирно.

– А теперь посмотрим, кто из нас может дотянуться до кончиков пальцев на ногах! – с живостью воскликнула она. – Колени не сгибаем, товарищи! Раз-два! Раз-два!..

Уинстон терпеть не мог это упражнение, от него боль пронзала от пяток до ягодиц и зачастую вызывала приступ надсадного кашля. Хоть какое-то удовольствие от раздумий пропало. Прошлое, решил он, не просто изменено, оно на самом деле уничтожено. Ведь как установить даже самый очевидный факт, если вне твоей памяти нет никаких иных свидетельств? Он попытался вспомнить год, когда услышал о Большом Брате впервые. Вроде бы это случилось в шестидесятые, хотя сказать точнее невозможно. Разумеется, в истории Партии Большой Брат фигурирует в качестве лидера и стража Революции с самых первых ее дней. Его свершения постепенно отодвигались назад во времени до тех пор, пока не забрались в мифический мир сороковых и тридцатых, когда капиталисты в причудливых цилиндрах разъезжали по Лондону в сверкающих автомобилях или в конных экипажах со стеклянными окнами. Неизвестно, сколько в этих мифах правды и сколько вымысла. Уинстон не помнил даже, когда появилась сама Партия, он вряд ли слышал слово «ангсоц» до

шестидесятого года, хотя вполне возможно, что его старая форма, то есть «английский социализм», уже была на слуху. Прошлое терялось в тумане. Иногда, безусловно, ложь удавалось распознать сразу. К примеру, учебники истории утверждали, что аэропланы изобрела Партия. Уинстон помнил, что они летали еще в его детстве, но доказать этого не смог бы – доказательств не осталось никаких. Лишь раз в жизни ему в руки попало письменное свидетельство фальсификации исторического факта. И тогда он…

– Смит! – раздался с экрана негодующий вопль. – 6079 Смит У.! Да, вы! Наклон глубже! Вы не стараетесь. Еще глубже! Во-о-от! Так-то лучше, товарищ. Теперь всем вольно и смотреть на меня.

Уинстона прошиб холодный пот. Лицо же его осталось совершенно невозмутимым. Не показывать смятения! Не показывать недовольства! Выдать может все, даже едва заметное движение глаз. Он стоял и смотрел, как инструктор подняла руки над головой и… не сказать, чтоб уж очень изящно, зато аккуратно и четко… согнулась пополам и сунула первые фаланги пальцев под носки тапок.

– Вот так, товарищи! Вот чего я от вас хочу. Мне тридцать девять, и у меня четверо детей. Смотрите снова! – Она наклонилась опять. – Видите, колени прямые. Вы тоже сможете, если захотите, – добавила она, выпрямившись. – Любой, кто моложе сорока пяти, вполне способен коснуться кончиков пальцев на ногах. Не всем нам выпадает честь сражаться на передовой, но мы можем хотя бы держать себя в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте и моряков в Плавучих крепостях! Представьте, каково им приходится. Теперь попробуйте еще раз. Так-то лучше, товарищ, гораздо лучше, – одобрительно добавила она, когда Уинстон, стиснув зубы, коснулся концов пальцев, совершенно не подгибая колен, – впервые за несколько лет.

IV

Начиная рабочий день, Уинстон, невзирая на близость телеэкрана, тяжко вздохнул, придвинул к себе речеписец, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул четыре маленькие бумажные трубочки, выпавшие из пневматической трубы с правой стороны стола, и скрепил бумажки вместе.

В стенах рабочей кабинки было три отверстия. Справа от речеписца – небольшая пневматическая труба для служебных уведомлений, слева – труба побольше, для газет, на боковой стене на расстоянии вытянутой руки – широкая щель с проволочной решеткой, предназначенная для утилизации бумажных отходов. Таких щелей по всему зданию министерства были тысячи или даже десятки тысяч, причем не только в кабинетах и кабинках, но и в коридорах. Почему-то их прозвали дырами памяти. Если требовалось уничтожить любой документ или просто клочок бумаги, валявшийся на полу, работник машинально открывал ближайшую заслонку и совал мусор внутрь; поток теплого воздуха его подхватывал и уносил к громадным топкам, скрытым глубоко внизу.

Уинстон изучил четыре развернутые бумажки. На каждой было поручение в одну-две строчки, написанное на специальном жаргоне, который применялся в министерстве сугубо для внутреннего пользования: еще не новослов, но очень похоже. В них значилось:

таймс 17.3.84 речь бб извврат африка скоррект

таймс 19.12.83 прогнозы 3 гп 4-й квартал 83 опечат сверка с текущим выпуском

таймс 14.2.84 миниблаг извратцит шоколад скоррект

таймс 3.12.83 бб протокол сообщение дваждыплюснедобр отсыл безличности полная перепись доархив утвервышинст

Не без легкого удовольствия Уинстон отложил четвертую бумажку в сторону. Тут требовалась тонкая и ответственная работа, и он оставил ее напоследок. Другие три поручения были рутинными, хотя со вторым придется повозиться из-за обилия цифр.

Уинстон набрал на телеэкране «старые номера» и заказал соответствующие выпуски «Таймс», которые вскоре выскользнули из пневматической трубы. Рабочие поручения относились к статьям и информациям, которые требовалось изменить или, выражаясь официально языком, скорректировать. К примеру, «Таймс» от семнадцатого марта сообщила, что шестнадцатого марта Большой

Брат в своей речи предсказал, что обстановка на Южноиндийском фронте останется без перемен, а в Северной Африке вскоре начнется наступление евразийской армии. Получилось так, что Высшее командование Евразии развернуло наступление в Южной Индии, а Северную Африку оставило в покое. В связи с чем возникла необходимость переписать абзац речи Большого Брата таким образом, чтобы он предвидел реальные события. Или та же «Таймс» девятнадцатого декабря опубликовала официальные прогнозы выпуска различных промтоваров на четвертый квартал 1983 года, он же шестой квартал Девятой трехлетки. В сегодняшнем номере газеты указан фактический выпуск, из которого следует, что прогнозы ошибочны по всем пунктам. Работа Уинстона заключалась в том, чтобы скорректировать первоначальные цифры, приведя их в соответствие с более поздними. Третье поручение касалось очень простой ошибки, которую можно устранить за пару минут. Не далее как в феврале министерство благоденствия обещало (точнее, «решительно заявило»), что в 1984 году норму шоколада на душу населения не уменьшат. На самом деле, как знал Уинстон, в конце прошлой недели пайка сократилась с тридцати до двадцати граммов. Требовалось лишь заменить прежнее обещание предупреждением, что в апреле норму, вероятно, придется сократить.

Выполнив первые три поручения, Уинстон прикрепил к соответствующим выпускам «Таймс» надиктованные на речеписец поправки и сунул их в пневматическую трубу. Затем почти машинально смял бумажки с заданиями и сделанными для себя записями и бросил все в дыру памяти.

Подробностей о происходящем в невидимом лабиринте пневматических труб Уинстон не знал, имел об этом лишь общее представление. Едва необходимые коррективы к конкретному номеру «Таймс» готовы, газету перепечатывают, старый экземпляр уничтожают и заменяют исправленной версией. Непрерывному изменению подвергаются не только газеты, но и книги, журналы, брошюры, плакаты, буклеты, фильмы, звуковые дорожки, мультфильмы, фотографии – любые публикации и документы, способные иметь политическое или идеологическое значение. Прошлое обновляется день за днем, минута за минутой. При таком подходе сбывается любой прогноз Партии, чему есть документальное подтверждение, а любая новость или мнение, противоречащее нуждам текущего момента, исчезает без следа. История как палимпсест, древний пергамент, надписи на котором соскабливают и переписывают столько, сколько нужно. Едва дело сделано, ты уже ничего не докажешь. Самый большой отдел департамента документации (гораздо крупнее того, где трудился Уинстон) состоял из служащих, в чьи обязанности входило отслеживать и собирать все копии книг, газет и прочих источников, подлежащих замене и

уничтожению. Номер «Таймс», дюжину раз перепечатанный из-за перемен политического курса или ошибочных прогнозов Большого Брата, все еще значился в подшивке под прежней датой, и других экземпляров не существовало. Книги также изымали и переиздавали без каких-либо упоминаний о том, что в них внесены соответствующие изменения. Даже письменные указания, которые Уинстон получал и от которых избавлялся сразу после завершения работы, никогда не называли вещи своими именами: не подделка, а корректировка оговорок, опечаток, неверных цитат с целью устранения неточности.

Вообще-то, думал Уинстон, корректируя данные министерства благоденствия, это даже не подделка, а всего лишь замена одной галиматьи на другую. Бо?льшая часть материала, с каким приходилось иметь дело, никак не связана с реальным миром. Статистика – всего лишь фантазия, как в оригинальной, так и в исправленной версии. Частенько цифры приходилось придумывать самому. К примеру, прогноз министерства благоденствия предрекал на текущий квартал выпуск ста сорока пяти миллионов пар обуви. Фактический объем производства составил шестьдесят два миллиона. Однако Уинстон, переделывая прогноз, позволил себе сократить его до пятидесяти семи миллионов, чтобы план, как всегда, оказался перевыполнен. В любом случае шестьдесят два миллиона ничуть не ближе к реальным цифрам, чем пятьдесят семь или даже сто сорок пять миллионов. Вероятнее всего, обувь не изготовили вовсе. Еще вероятнее, что никто не знает, сколько ее произвели, и никому до этого нет дела. Зато каждый квартал якобы производят рекордное количество ботинок, даром что половина Океании ходит босиком. И так везде, с любым документально подтвержденным фактом. Все пропадало в этом мире теней, в котором в конце концов нельзя было быть уверенным даже в том, какой именно год считается текущим.

Уинстон бросил взгляд через проход между кабинками. По ту сторону усердно трудился, положив газету на колено и прильнув губами к речеписцу, его коллега Тиллотсон, тощий педант с темным подбородком. У него был такой вид, словно все, что он надиктовывает, должно остаться между ним и телеэкраном. Тиллотсон покосился на Уинстона и недобро сверкнул очками.

Уинстон едва его знал и понятия не имел, чем тот занимается. Сотрудники департамента документации неохотно делились сведениями о своей работе. В длинном зале без окон, с двумя рядами клетушек постоянно шуршала бумага и голоса бубнили в речеписцы, здесь сидела не одна дюжина людей, даже имен

которых Уинстон не знал, хотя каждый день сталкивался с ними в коридорах или на Двухминутках ненависти. Маленькая песочная блондинка в соседней кабинке день-деньской занималась лишь тем, что выискивала и удаляла из газет имена тех, кто испарился, а следовательно, как бы и не должен был никогда существовать. Занятие для нее вполне подходящее, если учесть, что пару лет назад испарился ее муж. Еще через несколько кабинок сидел безобидный мечтатель по фамилии Эмплфорт, его отличали лезшие из ушей лохмы волос и поразительный талант звонко играть словами, увязывая их рифмами и любым стихотворным размером. Его удел – искажение (считалось: создание канонических текстов) стихов, которые были сочтены идеологически вредными, но по тем или иным причинам подлежали сохранению в поэтических антологиях. И этот зал с его пятьюдесятью (или около того) работниками был всего лишь подразделением, одною клеточкой в сложной структуре громадины департамента документации, что тянулся и в ширь, и в глубь здания и выполнял невообразимое множество различных задач. Имелись в нем и огромные типографии со своими редакторами, оформителями, верстальщиками, и прекрасно оборудованные студии, где трудились мастера подделки фотографий. Имелся и отдел телепрограмм с инженерами-механиками, режиссерами-постановщиками и актерами, умеющими искусно имитировать чужие голоса. Целые армии клерков занимались исключительно составлением списков книг и журналов, подлежащих изъятию. В обширных хранилищах содержали исправленные документы, а в скрытых топках уничтожали оригиналы. И во главе всего этого тайно, неизвестно где заседал управляющий мозг департамента, который согласовывал все действия и гнул генеральную линию, определявшую, какой фрагмент прошлого требуется сохранить, какой фальсифицировать, а какой уничтожить без следа.

Департамент документации был лишь одним из структурных подразделений министерства правды, чья главная задача состояла вовсе не в переписывании прошлого, а в снабжении граждан Океании газетами, учебниками, фильмами, телепрограммами, пьесами, романами – всевозможными видами информации: от служебных инструкций до легкого чтения, от статуй до лозунгов, от лирических стихов до научных трудов, от детских прописей до словников новослова. Министерству приходилось не только удовлетворять разнообразные нужды Партии, но и создавать аналогичную продукцию на более низком уровне, заботясь о благе пролетариев. Литературой, музыкой, драмой и зрелищами для пролов занималась целая сеть отдельных департаментов. Там производили дрянные газеты, где не печаталось ничего, кроме новостей спорта, криминальной хроники и астрологических прогнозов, пятицентовые бульварные романы, фильмы с постельными сценами и сентиментальные песенки, которые

механически создавались на специальном калейдоскопе, известном как версификатор. Существовал даже особый сектор (на новослове он звался порносек), выпускавший самую низкопробную порнографию, которая рассылалась в запечатанных пакетах, и ни единому члену Партии, помимо создавших эту продукцию, смотреть ее не позволялось.

Из пневматической трубы выпало еще три поручения, довольно простых, и Уинстон успел управиться с ними до Двухминутки. После Ненависти он вернулся к себе в кабинку, взял с полки «Словник новослова», отвел в сторону речеписец, протер очки и взялся за основную сегодняшнюю работу.

Величайшим удовольствием в жизни Уинстона была работа. По большей части приходилось иметь дело с нудной текучкой, зато иногда попадались задания столь сложные и замысловатые, что он уходил в них с головой, как в математическую задачку: виртуозная манипуляция фактами, основанная исключительно на знании принципов ангсоца и предчувствии того, что? именно угодно Партии. Такое Уинстону удавалось хорошо. Иногда ему даже доверяли корректировать передовицы «Таймс», написанные целиком на новослове. Он развернул ранее отложенное поручение и прочел:

таймс 3.12.83 бб протокол сообщение дваждыплюснедобр отсыл безличности полная перепись доархив утвервышинст

В переводе на старослов (или обычный английский) это означало:

В номере «Таймс» от 3 декабря 1983 года дневная хроника Большого Брата изложена чрезвычайно неудовлетворительно, в ней упомянуты несуществующие лица. Переписать целиком и до архивации подать черновик на утверждение вышестоящей инстанцией.

Уинстон прочел забракованную заметку. В хронике воздавалась похвала организации, известной как ССПК, снабжавшей моряков плавучих крепостей папиросами и прочими предметами хозяйственно-бытового обихода. Большой

Брат особо отметил некоего товарища Уизерса, видного деятеля Центра Партии, и наградил орденом «За выдающиеся заслуги» второй степени.

Три месяца спустя ССПК неожиданно распустили без объяснения причин. Предположительно Уизерс с подручными впали в немилость, но ни газеты, ни телеэкран о том не сообщали. Ничего удивительного, ведь политические преступники редко представали перед судом. Массовые многотысячные чистки с публичными процессами над изменниками и помыслокриминалами, с громкими униженными признаниями и казнями, были особыми зрелищами и проводились раз в несколько лет. Чаще всего те, кто навлек на себя немилость Партии, просто исчезали, и никто о них не слышал. Не появлялось ни малейшего представления, куда они девались. В иных случаях их даже оставляли в живых. Уинстон лично знал человек тридцать, не считая своих родителей, которые исчезли в разное время.

Уинстон задумчиво почесал нос скрепкой. В кабинке через проход от него товарищ Тиллотсон украдкой наговаривал что-то в речеписец. Он поднял голову – очки снова злобно сверкнули. Уинстон заподозрил, что коллега вполне мог корпеть над тем же поручением, что и он. Такую тонкую работу никогда не доверяли одному служащему, впрочем, созвать ради нее особую группу значило бы признать факт подделки. Вероятнее всего, над альтернативными версиями директивы Большого Брата трудилась по меньшей мере дюжина сотрудников. В скором времени какая-нибудь партийная шишка выберет тот или иной вариант, подредактирует, запустит сложный, многоэтапный процесс оформления перекрестных ссылок, и тогда ложь приобретет статус официального документа и станет правдой.

Уинстон не знал, почему Уизерс впал в немилость. Может, из-за коррупции или некомпетентности. Может, Большой Брат просто избавился от ставшего слишком популярным подчиненного. Может, Уизерса или кого-нибудь из его окружения заподозрили в отклонении от генеральной линии Партии. Или же, что наиболее вероятно, это случилось просто потому, что чистки и испарения неугодных – необходимые детали государственной машины. Единственная подсказка крылась в выражении «отсыл безличности» – то есть Уизерс уже мертв. Просто арест такой уверенности не гарантировал: иногда арестованных отпускали, давали пожить на свободе годик-другой и потом казнили. Изредка тот, кого считали давно умершим, внезапно всплывал на каком-нибудь публичном процессе и своими признательными показаниями тянул за собой сотни других, прежде чем исчезнуть навсегда. Уизерс, напротив, уже считается

безличностью. Его нет – его никогда не существовало. Уинстон решил, что изменить смысл речи Большого Брата на противоположный недостаточно. Лучше пусть она утратит всякую связь с первоначальной темой.

Он, конечно, мог бы превратить хвалебную речь в обличение изменников и помыслокриминалов, только это чересчур очевидно. Если придумать победу на фронте или объявить о перевыполнении плана производства в Девятой трехлетке, то потребуется слишком много переделок других источников. Нужна какая-нибудь чистой воды фантазия. И тут перед мысленным взором вспыхнула готовая картинка: некий товарищ Огилви, недавно павший смертью храбрых в бою. Случалось, в хрониках Большой Брат отдавал дань памяти какому-нибудь скромному, рядовому члену Партии, чья жизнь и смерть могли послужить хорошим примером для подражания. Сегодня ему следует почтить память товарища Огилви. Разумеется, такого человека не было и в помине, но это исправимо: нужны лишь небольшой текст и пара поддельных фотографий.

Уинстон подумал с минуту, придвинул к себе речеписец и начал диктовать в знакомой манере Большого Брата, в стиле одновременно армейском и книжном. Благодаря риторическим вопросам и немедленным ответам на них – «Какие уроки мы можем извлечь из этого факта, товарищи? Урок, который, кстати, является одним из основополагающих принципов ангсоца, следующий…» – подражать ему сравнительно несложно.

В возрасте трех лет товарищ Огилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, пистолета-пулемета и детского вертолетика. В шесть – на год раньше, чем положено, благодаря особому разрешению – вступил в Разведчики, в девять стал командиром отряда. В одиннадцать сдал своего дядю полиции помыслов, подслушав разговор, показавшийся ему преступным. В семнадцать Огилви возглавил Юношескую антисекс-лигу района. В девятнадцать сконструировал ручную гранату, принятую впоследствии на вооружение министерством мира, которая при первом испытании убила тридцать одного евразийского военнопленного. В двадцать три погиб в бою. На вертолете перелетал через Индийский океан, когда на него напали вражеские реактивные самолеты. Тогда он выпрыгнул из вертолета в обнимку с пулеметом, чтобы сразу пойти на дно вместе с важными донесениями. Достойный конец, которому можно только позавидовать, отметил Большой Брат. Упомянул и о чистоте и целеустремленности товарища Огилви. Вредных привычек не имел, не позволял себе никаких развлечений, кроме ежедневной часовой тренировки в спортзале, и принял обет безбрачия, поскольку считал семью помехой круглосуточному

служению Родине. У него не было ни тем для разговора, кроме принципов ангсоца, ни иной цели в жизни, кроме победы над евразийской армией и выслеживания шпионов, диверсантов, помыслокриминалов и прочих изменников.

Уинстон хотел сначала наградить товарища Огилви орденом за заслуги, потом передумал: слишком много возникло бы перекрестных ссылок.

Он снова покосился на соперника в кабинке напротив. Судя по всему, Тиллотсон трудился над тем же самым поручением. Никогда не узнаешь, чью версию примут в итоге, и все же Уинстон был убежден, что выберут его. Товарищ Огилви, еще час назад никому не известный, теперь стал реальным человеком. Уинстона поразила мысль, что можно создавать мертвых, но не живых. В настоящем товарища Огилви не существовало, зато теперь он существует в прошлом. Как только про фальсификацию забудут, он станет исторической фигурой ничуть не менее подлинной, чем Карл Великий или Юлий Цезарь.

V

В столовой с низким потолком, глубоко под землей, очередь двигалась медленными рывками. Народу набилось много, и шум стоял оглушительный. Из решетки у распределительной стойки валил пар, и даже вонь джина «Победа» не перекрывала кисловатый металлический запах похлебки. В дальнем конце находился маленький бар – точнее, просто дыра в стене, – где за десять центов можно было купить порцию выпивки.

– Вы-то мне и нужны! – услышал Уинстон у себя за спиной.

Он обернулся. Это был его друг Сайм из департамента исследований. Пожалуй, слово «друг» в данном случае не годилось. Теперь все стали товарищами, но общаться с некоторыми Уинстону нравилось больше, чем с другими. Сайм был филологом, специалистом по новослову. Он входил в огромную команду экспертов, занятых составлением Одиннадцатого издания «Словника новослова». Существо крохотное, еще ниже Уинстона, с темными волосами и большими глазами навыкате, во взгляде их мешались скорбь и насмешка, казалось, Сайм пристально изучает собеседника.

– Я хотел спросить, нет ли у вас бритвенных лезвий.

– Ни одного! – тут же выпалил Уинстон и, словно оправдываясь, добавил: – Я искал повсюду, их просто нет.

Все только и знали, что клянчить лезвия. На самом деле у Уинстона осталось еще два нетронутых, но он держал их для себя. Последние пару месяцев бритвы были в дефиците. В партийных магазинах постоянно пропадал то один, то другой товар первой необходимости. Иногда исчезали пуговицы, иногда шерсть для штопки, иногда шнурки, сейчас вот бритвенные лезвия. Раздобыть их удавалось только на черном рынке, да и то, если сильно повезет.

– Сам одним бреюсь уже месяца полтора, – соврал он.

Очередь подалась вперед. Остановившись, Уинстон снова повернулся к Сайму. Оба взяли с раздаточной стойки по засаленному металлическому подносу.

– Ходили смотреть, как вешают преступников? – спросил Сайм.

– Я работал, – равнодушно ответил Уинстон. – Посмотрю потом в кино.

– И много потеряете, – заметил Сайм.

Его насмешливый взгляд скользнул по лицу Уинстона. «Знаю я вас, – словно говорил он, – насквозь вижу. Прекрасно понимаю, почему вчера вы пропустили казнь». В интеллектуальном отношении Сайм был ярым приверженцем Партии. С каким злорадством он обсуждал вертолетные рейды на деревни противника, смаковал признания помыслокриминалов на публичных процессах и казни в застенках министерства любви! Общаясь с ним, Уинстон старался переключить разговор на лингвистические тонкости новослова, и тогда слушать Сайма было одно удовольствие. Уинстон чуть отвернулся, уклоняясь от пристального взгляда приятеля.

– Казнь на славу! – восторгался он. – Со связанными ногами совсем не то. Люблю смотреть, как дергаются. А самая прелесть в конце, когда вываливается язык – такой синий-синий!

– Следующий! – крикнул прол в белом фартуке и с поварешкой в руке.

Уинстон и Сайм просунули подносы под решетку. Каждому выдали положенную обеденную порцию: розовато-серую похлебку в металлической миске, ломоть хлеба, кусок сыра, кружку кофе «Победа» без молока и таблетку сахарина.

– Вон там, под телеэкраном, есть свободный столик, – указал Сайм. – Заодно и джин возьмем.

Джин подали в фаянсовых бокалах без ручек. Они пробрались сквозь толпу и разгрузили подносы на металлическом столе, по углу которого растеклась лужица похлебки, неаппетитная жижа, похожая на блевотину. Уинстон взял бокал с джином, собрался с духом и опрокинул в себя сивушную жидкость. Утерев навернувшиеся на глаза слезы, он с удивлением почуял, что проголодался. Схватив ложку, Уинстон принялся глотать варево, в котором попадались волокнистые розоватые кусочки, наверное, тушеное мясо. Приятели молчали, пока не опустошили миски. За столиком слева, чуть позади Уинстона, кто-то резко трещал без умолку, и торопливая речь, похожая на утиное кряканье, перекрывала гул голосов.

– Как продвигается работа над словником? – поинтересовался Уинстон, стараясь перекрыть шум.

– Медленно, – ответил Сайм. – Сейчас я занимаюсь прилагательными. Весьма занятно!

При упоминании новослова Сайм оживился. Он отодвинул миску, взял хлеб в одну изящную руку, сыр – в другую и подался вперед, чтобы не повышать голос.

– Одиннадцатое издание станет последним, – сообщил он. – Мы приводим язык в окончательную форму, в таком виде им будут пользоваться, когда старослов отомрет. После того как мы закончим, людям вроде вас придется учить язык заново. Вы наверняка полагаете, что наша главная забота – придумывать новые слова. Ничего подобного! Мы их, наоборот, уничтожаем – десятками, сотнями каждый день. Мы срежем с языка лишнюю плоть, обнажив остов! К две тысячи пятидесятому году в словнике не останется ни единого анахронизма!

Сайм, как голодный, отхватил кусок хлеба и в два приема проглотил его, потом вновь заговорил со школярским пылом. Тонкое смуглое лицо его оживилось, взгляд утратил насмешливое выражение и стал едва ли не мечтательным.

– Уничтожать слова – это прелестно. Разумеется, в расход идут многие глаголы и прилагательные, но ведь можно избавиться и от сотен существительных. Не только синонимов, есть же еще и антонимы. Кому нужно слово, противоположное другому? В любом слове и так содержится его противоположность. Возьмем, к примеру, «хороший». К чему нам «плохой», если можно сказать «нехороший»? Кстати, так гораздо лучше, ведь мы получаем значение полностью обратное, без всяких там добавочных оттенков. Или вот, к примеру, хотим мы усилить прилагательное «хороший», для чего в старом языке была куча расплывчатых, бесполезных слов вроде «превосходный», «великолепный» и прочие. «Плюсхороший» заменит их все! Или «дваждыплюсхороший», если угодно. В итоге любые представления о хорошем и плохом мы уместим всего в шесть слов – точнее, в одно. Неужели вам непонятна прелесть этого, Уинстон? Замысел, конечно, принадлежит Б. Б., – спохватился Сайм.

При упоминании Большого Брата лицо Уинстона подобострастно оживилось. Тем не менее Сайм тут же отметил недостаток энтузиазма.

– Уинстон, вам не понять всей прелести новослова, – заявил он почти с грустью. – Вы на нем не пишете, а перекладываете со старослова. Читал я ваши передовицы в «Таймс». Неплохо. А все равно это лишь переводы. В глубине души вы держитесь за старослов, при всей его расплывчатости и куче бесполезных оттенков значений. Вы не цените красоту уничтожения слов. Знаете, что новослов – единственный язык в мире, чей Лексикон Б с каждым годом становится все меньше?

Конечно, Уинстон знал. Он сочувственно улыбнулся, не решаясь заговорить. Сайм снова куснул черного хлеба, торопливо прожевал и продолжил:

– Неужели вы не понимаете, что единственная цель новослова – сузить диапазон человеческой мысли? В итоге мы сделаем помыслокриминал в принципе невозможным, потому что не останется слов для его выражения. Каждому понятию, которое мы посчитаем нужным сохранить, будет соответствовать ровно одно слово, значение которого строго определено – и никаких вспомогательных значений! В Одиннадцатом издании мы уже близки к цели.

Кстати, процесс продолжится и после того, как не станет ни вас, ни меня. С каждым годом слов будет все меньше, диапазон мысли – все у?же. Разумеется, и сейчас для помыслокриминала нет ни причин, ни оправданий. Это лишь вопрос самодисциплины, контроля над реальностью. В итоге даже он не понадобится! Революция завершится, когда язык доведут до совершенства. Новослов есть ангсоц, а ангсоц есть новослов, – благоговейно добавил Сайм. – Неужели вам не приходило в голову, Уинстон, что к две тысячи пятидесятому году не останется никого, кто смог бы понять беседу, подобную нашей?

– Кроме… – неуверенно начал Уинстон и умолк. На языке вертелась фраза: «Кроме пролов», – но он сдержался, поскольку сомневался в допустимости подобного замечания. Впрочем, Сайм понял его с полуслова.

– Пролы не люди, – небрежно бросил он. – К две тысячи пятидесятому или даже раньше владеть старословом не будет никто. Всю литературу прошлого мы уничтожим. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон останутся лишь в новых версиях, их произведения не просто видоизменятся, а превратятся в нечто противоположное. Преобразится даже партийная литература, даже лозунги. Зачем нужен лозунг «Свобода есть рабство», если понятие свободы упразднят? Атмосфера мышления будет совершенно иной. Собственно говоря, и мышления как такового уже не будет. Догматизм бессознателен, мыслить вообще ни к чему!

Не сегодня-завтра, подумал Уинстон с непонятно откуда взявшейся глубокой убежденностью, Сайм испарится. Слишком умен, слишком четко все раскладывает и говорлив слишком. Партии такие люди не нравятся. День придет – и он испарится. У него это на лице написано.

Уинстон доел хлеб с сыром, слегка повернулся на стуле, чтобы выпить кружку кофе. За столом слева мужчина с резким голосом продолжал вещать без умолку. Ему внимала молодая женщина, сидевшая к Уинстону спиной, видимо, секретарь. Она соглашалась со всем, что тот излагал, и время от времени бормотала юным и довольно глупым голоском: «По-моему, вы так правы, я с вами так согласна». Ее собеседник не прерывался ни на секунду, даже когда говорила девушка. Лицо Уинстону было знакомо, хотя знал только, что его обладатель занимает важный пост в департаменте беллетристики. Мужчина лет тридцати, с мощной шеей и большим подвижным ртом, сидел, чуть задрав голову, и свет падал на очки так, что вместо глаз сверкали два пустых диска. В потоке льющихся изо рта звуков нельзя было вычленить почти ни единого слова, и это

навевало легкую жуть. До Уинстона долетела фраза «полное и окончательное уничтожение гольдштейнизма», она вывалилась из потока слов сплошным куском, будто отлитая из металла строка набора. Остальное плавилось в надоедливый шум, похожий на утиный кряк. И все же общий смысл угадывался легко: обличение Гольдштейна, требование ужесточить меры к помыслокриминалам и диверсантам, негодование на зверства евразийской армии, восхваление Большого Брата или – разницы никакой – героев Малабарского фронта. Глядя на безглазое лицо с ритмично двигающейся челюстью, Уинстон испытал странное чувство, что перед ним не живой человек, а кукла. Речь рождалась не в мозгу – сразу в гортани. Хотя она и состояла из слов, вряд ли этот поток можно было считать речью в привычном смысле, так, бездумный галдеж.

Сайм умолк и задумчиво возил ложкой по пролитой на стол жиже. Голос за соседним столиком продолжал тарахтеть, с легкостью перекрывая стоявший в столовой гул.

– В новослове есть такой термин, – сказал Сайм, – не знаю, известен он вам или нет: «крякоречь». Означает крякать как утка. Интересно, что у него два противоположных значения. Применительно к оппоненту это оскорбление, а к соратнику – похвала.

Сайм точно испарится, вновь подумал Уинстон. Подумал не без грусти, хотя отлично знал, что Сайм его презирает, недолюбливает и с готовностью сдаст как помыслокриминала, дай только повод… Сайм был какой-то не такой, ему явно не хватало благоразумия, сдержанности, своего рода спасительной глупости. Не сказать, чтобы он придерживался крамольных взглядов. Совсем напротив: Сайм свято верил в принципы ангсоца, благоговел перед Большим Братом, радовался победам, ненавидел отступников, причем с каким-то неугомонным фанатизмом, вникая во все слишком глубоко, чего от рядовых членов Партии ожидать сложно. И все же репутация у него несколько подмочена: говорил то, чего говорить не следует, прочел слишком много книг, его часто видели в кафе «Каштан» – злачном месте, популярном среди художников и музыкантов. Хотя никаким законом, даже неписаным, ходить туда не воспрещалось, кафе пользовалось дурной славой. Перед окончательной чисткой, выкосившей всех старых лидеров Революции, там собиралась дискредитировавшая себя партийная верхушка. По слухам, когда-то в кафе захаживал и сам Гольдштейн. Предвидеть судьбу Сайма несложно. И все же, если Сайм осознает, хотя бы на три секунды, каких убеждений придерживается Уинстон на самом деле, он

непременно сдаст его полиции помыслов. Впрочем, так поступил бы любой, но Сайм сделает это с особой готовностью, одного рвения недостаточно. Догматизм бессознателен.

Сайм поднял взгляд.

– Опять Парсонс пожаловал, – проговорил он таким голосом, словно хотел добавить «отпетый дурак».

Парсонс, сосед Уинстона по «Дворцу Победы», и в самом деле пробирался к ним сквозь толпу – коротконогий и упитанный, среднего роста, со светлыми волосами и лягушачьим лицом. К тридцати пяти годам он уже успел обзавестись жировыми складками на шее и талии, но двигался порывисто, как мальчишка. Да и обликом он смахивал на ребенка-переростка, которому больше пристало ходить в синих шортах, серой рубашке и красном галстуке Разведчиков, нежели в рабочем комбинезоне партийца. При упоминании Парсонса воображение услужливо дополняло его образ коленками с ямочками и пухлыми ручками с закатанными рукавами. Парсонс и в самом деле с удовольствием облачался в шорты в пеших походах или занимаясь каким-нибудь общественным трудом. Он поздоровался с сослуживцами жизнерадостным возгласом «Привет-привет!» и подсел за их стол, пахну?в едким по?том. Розовое лицо так и сочилось испариной. Потел Парсонс знатно. Во Дворце культуры всегда можно было определить, что он недавно играл в пинг-понг, по влажной ручке ракетки. Сайм достал листок бумаги с длинным столбиком слов и принялся его изучать, держа наготове химический карандаш.

– Только посмотрите на него, даже в обед работает! – восхитился Парсонс, подтолкнув Уинстона локтем. – Ловко, да? Что там у вас, старина? Наверное, для меня это слишком мудрено. Смит, старина, а я ведь не просто так за вами гоняюсь. У вас должок по взносам!

– На что собираем? – спросил Уинстон, машинально нашаривая деньги. Примерно четверть зарплаты уходила на добровольные взносы, их было так много, что всех и не упомнишь.

– На Неделю ненависти, для фонда по месту жительства. Меня выбрали казначеем нашего квартала. Постараемся как следует и устроим нечто грандиозное! Вот что я скажу: не моя вина, если «Дворец Победы» не вывесит

больше всех флагов на нашей улице. Вы обещали два доллара.

Уинстон протянул ему две помятые, замусоленные банкноты, и Парсонс записал его имя в специальный блокнотик старательным почерком неуча.

– Кстати, старина, – спохватился он. – Слышал я, вчера мой мелкий негодник пальнул в вас из рогатки. Я устроил ему хорошую взбучку и даже пообещал отнять игрушку.

– Вероятно, он немного расстроился из-за того, что не смог посмотреть на казнь, – заметил Уинстон.

– Ну да. Настрой весьма похвальный, верно? Они у меня, конечно, озорники, зато какие ушлые! Думают только о Разведчиках и о войне. Знаете, что моя малышка устроила в ту субботу, вместо пешего похода в Беркхамстед? Подбила двух девочек из отряда отправиться следить за каким-то незнакомцем. Ходили за ним хвостом битых два часа, а потом в Эмершеме сдали патрулю.

– Зачем же они это сделали? – поразился Уинстон.

Парсонс торжествующе пояснил:

– Доча решила, что он вражеский агент, его, может, с парашютом забросили. И вот что самое интересное, старина! Думаете, что ее насторожило в первую очередь? Странные туфли на нем: доча таких никогда не видела! Значит, иностранец. Довольно умно для семилетней егозы, а?

– А что стало с тем человеком? – спросил Уинстон.

– Откуда мне знать? Не удивлюсь, если его… – Парсонс сделал вид, что прицеливается из винтовки, и щелкнул языком, изображая выстрел.

– Поделом, – рассеянно бросил Сайм, не отрываясь от своего листка.

– Конечно, рисковать мы не можем, – с готовностью подхватил Уинстон.

– Вот и я про то же: война как-никак, – поддакнул Парсонс.

И словно в подтверждение с телеэкрана сорвался призывный звук трубы и вихрем пронесся у них над головами. Впрочем, на этот раз он предшествовал не сводке с фронта, а объявлению от министерства благоденствия. «Товарищи! – вскричал радостный юный голос. – Внимание, товарищи! У нас потрясающие новости! Мы выиграли битву за производство! Итоговые отчеты по выработке всех видов товаров свидетельствуют, что за последний год уровень жизни вырос на целых двадцать процентов! Сегодня утром вся Океания в едином порыве вышла на стихийные демонстрации: трудящиеся заводов и конторские служащие покинули рабочие места и промаршировали по улицам с транспарантами, выражая благодарность Большому Брату за нашу новую, счастливую жизнь, которую обеспечило нам его мудрое руководство. А теперь к итоговым показателям: продукты питания…»

Выражение «наша новая, счастливая жизнь» повторялось несколько раз. Видимо, министерству благоденствия оно особенно полюбилось. Парсонс, подобравшийся при звуке трубы, сидел и слушал, открыв рот, с важным видом привыкшего к скуке недоучки. Цифры говорили ему мало, но он понимал, что им следует радоваться. Он вытащил огромную потертую трубку, наполовину набитую обугленным табаком. При норме 100 граммов в неделю набить трубку целиком удавалось редко. Уинстон курил папиросу «Победа», осторожно держа ее строго горизонтально. Новую пайку дадут только завтра, а у него осталось всего четыре папиросы. Он отрешился от постороннего шума и прислушался к потоку слов с телеэкрана. Похоже, демонстранты благодарили Большого Брата даже за то, что он повысил норму шоколада до двадцати граммов в неделю. Только вчера, вспомнилось Уинстону, объявили об уменьшении нормы до двадцати граммов. Неужто можно проглотить такое вранье всего за двадцать четыре часа? Парсонс, глупое животное, проглотил легко. Безглазый мужчина за соседним столиком заглатывал фанатично, страстно, его словно обуревало неистовое желание выследить, донести, дать испариться любому, кто скажет, что на прошлой неделе норма составляла тридцать граммов. Сайм тоже – правда, несколько иным способом, привлекая двоемыслие. И Сайм проглотил. Неужто выходит, что он единственный, кому это запало в память?

С телеэкрана все еще сыпалась баснословная статистика. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг, больше детей – больше всего, кроме болезней, преступлений, безумия. Год за годом, минута за минутой все и вся со свистом неслось вперед, к светлому будущему. Как Сайм пораньше, Уинстон взял ложку

и принялся выводить узоры по растекшейся по столу бледной жиже. Он с досадой размышлял о материальной основе жизни. Всегда ли было так? Всегда ли еда имела такой вкус? Он оглядел столовую. Низкий потолок, стены, засаленные от прикосновений бесчисленных тел, разболтанные металлические столы и стулья, стоящие так тесно, что касаешься локтем соседа; погнутые ложки, помятые подносы, щербленые белые кружки; все поверхности сальные, во всех трещинах грязь; кисловатый дух, в каком мешается вонь дешевого джина, паршивого кофе, похлебки с металлическим привкусом и грязной одежды. Постоянно нутро, вся кожа зудела в нем от бунта, ощущения того, что его лишили принадлежавшего ему по праву. Да, правда, насколько помнилось, иной жизни он не знал: никогда не ел досыта, носки и нижнее белье занашивал до дыр, мебель – вечно раздолбанная и шаткая, топили плохо, вагоны подземки шли битком, дома разваливались, хлеб – черный, чай – большая редкость, кофе – противный, табаку не хватает, один только дешевый синтетический джин всегда в избытке. И хотя с возрастом переносить лишения все труднее, разве это не свидетельствует о том, что естественный порядок вещей вовсе не должен быть таким? Если сердце щемит от бесприютности, грязи и лишений, от нескончаемых зим, от промокших ног, а лифты вечно не работают, вода только холодная, мыло грубое и сушит кожу, табак из папирос высыпается, еда по вкусу с помоями схожа? Если жизнь кажется невыносимой, не говорит ли в тебе память предков, оставшаяся с тех времен, когда все было иначе?

Он вновь оглядел столовую. Почти все уродливы, и синие комбинезоны тут ни при чем: этих людей как ни одень, уродами и останутся. В дальнем конце за столом в одиночестве сидел мелкий, похожий на жучка служащий с кружкой кофе и подозрительно обшаривал зал маленькими бегающими глазками. Если не смотреть по сторонам, думал Уинстон, легко поверить, что физический тип, взятый Партией за идеал (мускулистые юнцы и грудастые девы, светловолосые, энергичные, загорелые, беззаботные), не только существует, но и преобладает. На самом деле, насколько он мог судить, большинство населения Авиабазы-1 – низкорослые, темноволосые и уродливые. Любопытно, как люди-жучки заполонили министерства: проворные невзрачные коротышки, склонные к полноте уже в юном возрасте, с короткими ножками и маленькими глазками на жирных невозмутимых мордах. Похоже, под владычеством Партии этот тип расцвел пышным цветом.

Объявление министерства благоденствия закончилось трубным сигналом, за ним последовала жесткая, бряцающая музыка. Парсонс, впечатленный цифрами, преисполнился энтузиазма и вынул трубку изо рта.

– В этом году министерство благоденствия отлично потрудилось, – заявил он и с важным видом кивнул. – Кстати, старина, у вас не найдется лишнего лезвия для бритвы?

– Увы, – ответил Уинстон, – сам полтора месяца одним бреюсь.

– Ну ладно, нет так нет.

– Что поделаешь.

Крякоречь за соседним столом, умолкшая во время сводки министерства благополучия, затарахтела с новой силой. Почему-то Уинстону вспомнилась миссис Парсонс с жидкими растрепанными волосами и пылью в складках лица. В ближайшие пару лет дети непременно сдадут ее полиции помыслов. Миссис Парсонс испарится. Сайм испарится. Уинстон испарится. О’Брайен испарится. А вот Парсонсу не грозит ничего, как и безглазо крякающему мужчине. Жучки-служащие, так ловко снующие по лабиринту коридоров министерства, – эти уж точно не испарятся никогда. И темноволосая из департамента беллетристики не испарится никогда. Уинстон словно нутром чуял, кто уцелеет, кто исчезнет, хотя и не мог сказать, от чего именно зависит, выживет человек или нет.

И в этот миг его, отрешенно витавшего в раздумьях, будто грубо тряхнуло. Сидевшая за столом перед Уинстоном девушка, извернувшись вполоборота, смотрела на него. Та самая, темноволосая. Смотрела искоса, зато весьма пристально. Поймав его взгляд, девушка снова отвернулась.

Уинстон облился холодным по?том. Накатил приступ ужаса и почти сразу схлынул, оставив после себя щемящую тревогу. Почему она так смотрит? Почему она его преследует? Уинстон не помнил, сидела темноволосая за столом, когда он пришел, или появилась позже. В любом случае на вчерашней Двухминутке ненависти она устроилась сразу позади него, хотя мест хватало. Вполне вероятно, что девушка решила убедиться, достаточно ли громко он кричит.

Опять подумал: вряд ли она из полиции помыслов, хотя от добровольного шпиона вреда куда больше. Уинстон не знал, как давно она за ним следит, но даже за последние пять минут, если он не вполне владел выражением лица, девушка могла бы увидеть достаточно. В общественном месте или перед телеэкраном погружаться в задумчивость слишком опасно. Выдать может любая

мелочь: нервный тик, невольная озабоченность во взгляде, привычка бормотать себе под нос – любое отклонение от нормы или намек на скрытность. Так или иначе, неподобающее выражение лица (к примеру, скептичное, когда объявляют о победе) считается проступком, заслуживающим наказания. В новослове даже термин такой есть – «лицекриминал».

Темноволосая опять сидела к Уинстону спиной. Может, и не следит, может, просто совпадение. Папироса погасла, он аккуратно положил ее на край стола: покурит после работы, если удастся не просыпать табак. Наверняка где-то рядом соглядатай полиции помыслов, и через три дня Уинстона упрячут в подвалы министерства любви, и все же табак надо беречь. Сайм сложил листок и убрал в карман. Парсонс снова заговорил.

– Я не рассказывал, старина, – начал он, посасывая трубку, – как мои непоседы подпалили юбку старухе-торговке, которая заворачивала колбасу в плакат Б. Б.? Подкрались сзади с коробком спичек и устроили потеху. Наверное, сильно обожглась. Вот негодники! Зато настырные как не знаю кто! В отряде Разведчиков детишек натаскивают отменно, даже лучше, чем нас в свое время. Знаете, что им недавно выдали? Слуховые трубки, чтобы подслушивать через замочную скважину! Моя дочурка вчера опробовала ее на двери в общую комнату: выходит в два раза слышнее, чем просто ухо приложить! Понятно, игрушка всего лишь, но нужные навыки прививает.

Внезапно из телеэкрана раздался пронзительный свист: обед закончился. Все трое разом вскочили, чтоб ринуться в битву за место в лифтах, и из папиросы Уинстона вывалился последний табак.

VI

Уинстон писал в дневнике:

Это было три года назад. Темный вечер, узкий переулок возле большой железнодорожной станции. Она стояла в дверном проеме, под едва светившим уличным фонарем. Лицо молодое, густо накрашено. Привлекала меня,

признаться, именно окраска: белое, как маска, лицо с пунцовыми губами. Партийные женщины никогда не красятся. На улице ни прохожих, ни телеэкранов. Она сказала: два доллара. Я…

Уинстон смешался. Зажмурил глаза и прижал к ним пальцы. Почти неодолимо тянуло выругаться – грязно, во весь голос. Или боднуть головой стену, пнуть стол, вышвырнуть чернильницу в окно – все, что угодно, лишь бы приглушить терзавшее его воспоминание.

Твой злейший враг, думал Уинстон, твоя нервная система. В любой момент внутреннее напряжение может вылиться в видимый симптом. Он вспомнил, как пару недель назад видел на улице одного прохожего: обычный с виду член Партии, лет тридцати-сорока, высокий и худой, с портфелем. Внезапно левая сторона его лица дернулась. Через несколько шагов это повторилось – всего лишь легкое подергивание, быстрое, как щелчок затвора фотоаппарата, но явно привычное. И Уинстон подумал: бедняге конец. Самое страшное, что сокращение мышц, скорее всего, совершенно непроизвольное. А самая смертельная опасность подстерегает тебя во сне, и спасения от нее нет.

Уинстон вздохнул и продолжил писать:

Я прошел за ней в дверь, потом задами на кухню в подвале. У стены стояла кровать, на столе тускло горела лампа, фитилек которой был подвернут почти до конца. Она…

Уинстон стиснул зубы. Хотелось сплюнуть. Одновременно с женщиной в подвальной кухне он вспомнил Кэтрин, свою жену. Когда-то Уинстон был женат… впрочем, как и сейчас, ведь жена до сих пор жива. Казалось, он снова вдохнул спертый воздух кухни, в котором мешались запахи клопов, грязной одежды и противных, дешевых и все же соблазнительных духов. Партийные женщины не душатся никогда, духи в ходу только у пролов. В его сознании их запах удушающе мешался с распутством.

Он уже пару лет не был с женщиной. Разумеется, общение с проститутками запрещалось, но этот запрет относился к тем, которые изредка нарушаешь. Поймают – дадут пять лет в исправительно-трудовом лагере, не больше, если нет других прегрешений. Лишь бы не взяли с поличным. Беднейшие кварталы буквально кишат женщинами, готовыми себя продать. Иным хватает бутылки джина (пролам он не полагается). Негласно Партия даже поощряет проституцию, ведь та дает выход инстинктам, подавить которые полностью еще не получалось. На обычное распутство смотрят сквозь пальцы, пока оно остается шито-крыто да уныло и вовлечены в него женщины из низшего и презираемого класса. Непростительными считаются беспорядочные половые связи между членами Партии. Однако, хотя в этом преступлении признавались практически все без исключения жертвы великих чисток, Уинстону верилось в такое с трудом.

Цель Партии состоит не только в том, чтобы между мужчинами и женщинами не возникала привязанность, которую нельзя контролировать со стороны. На самом деле требовалось лишить половой акт всякого удовольствия. Главный враг – не любовь, а эротика, что в браке, что вне брака. Все союзы между членами Партии устраиваются с ведома специального комитета, и (вслух этот принцип не озвучивают) в разрешении паре отказывают, если будущие супруги чувствуют взаимное влечение. Единственной целью брака считается рождение детей для служения Партии. К половому акту относятся словно к малоприятной медицинской процедуре вроде клизмы. Опять же, прямо об этом не говорится, но подспудно с детства вдалбливается каждому члену Партии. Существуют даже специальные организации вроде Юношеской антисекс-лиги, ратующие за полное воздержание для обоих полов. Детей следует зачинать с помощью искусственного оплодотворения (на новослове это называется «ископлод») и выращивать в государственных учреждениях. Уинстон понимал, что это не всерьез, хотя и удачно вписывается в идеологию Партии: убить половой инстинкт, а если не выйдет, то принизить и изгадить. Он не знал зачем, просто чувствовал, что так и должно быть. Что касается женщин, то усилия Партии по большей части увенчались успехом.

Он снова подумал о Кэтрин. Они разошлись девять, десять, точнее, почти одиннадцать лет назад. Как ни странно, Уинстон вспоминал о ней редко. Иногда он даже забывал, что вообще был женат. Вместе они провели пятнадцать месяцев. Разводиться Партия не разрешает, хотя бездетных призывает расстаться.

Кэтрин была высокой блондинкой с очень правильной, горделивой осанкой. Черты крупные, нос с горбинкой – ее лицо можно бы назвать благородным, если бы за ним не скрывалась практически полная пустота. Еще в самом начале совместной жизни Уинстон решил – хотя, вероятно, лишь потому, что ее он узнал лучше, чем других людей, – что глупее, вульгарнее и скудоумнее Кэтрин никого не встречал. В голове ее не задерживалось ни единой мысли, кроме партийных лозунгов, и она глотала любую невообразимую чушь, если та исходила от родной Партии. Про себя Уинстон называл ее «ходячая фонограмма». И все же он смог бы с ней ужиться, если бы не секс.

Стоило ему к жене прикоснуться, как та морщилась и цепенела. Обнимать ее было все равно что деревянную куклу. Как ни странно, даже прижимая мужа к себе, она словно отталкивала его изо всех сил. Кэтрин лежала с закрытыми глазами, не сопротивляясь и не отвечая на ласки – она тупо подчинялась. Уинстон находил это чрезвычайно унизительным, а под конец и противным. Если бы они договорились обходиться без половых отношений, Уинстон смирился бы с совместной жизнью. Как ни странно, Кэтрин отказалась. «Мы должны родить ребенка», – заявила она. Исполнение супружеского долга происходило регулярно – раз в неделю, если тому ничего не препятствовало. Она даже напоминала ему утром, словно речь шла об обязанности по дому, которую непременно следует выполнить вечером. Кэтрин использовала два выражения: «сделать ребенка» и «наш долг перед Партией» (она и в самом деле так выражалась!). Уинстон стал ожидать назначенного дня со страхом. К счастью, зачать ребенка не получилось, Кэтрин признала, что пора оставить попытки, и вскоре они разошлись.

Уинстон неслышно вздохнул, снова взялся за перо и написал:

Она улеглась на кровать и сразу, безо всяких прелюдий, самым отвратительным и пошлым образом задрала юбку. Я…

Он стоял в тусклом свете лампы, в нос била вонь клопов и дешевых духов, сердце саднило от горечи поражения и обиды. Внезапно Уинстону вспомнилось белое тело Кэтрин, навеки застывшее под гипнозом Партии. Почему всегда так? Почему нельзя быть с женщиной постоянно, вместо этой мерзкой возни раз в несколько лет? Увы, нечего и думать о том, чтобы завести роман. Все партийные

женщины одинаковы. Целомудрие въелось в них так же глубоко, как и преданность Партии. Естественное чувство вытравляют из них с детства: продуманным воспитанием, играми и холодными обливаниями, чушью, которой им забивают головы в школе, в Разведчиках и Юношеской лиге, лекциями, парадами, песнями, лозунгами и маршами. Рассудок говорил Уинстону, что исключения наверняка есть, но сердце не верило. Все они непробиваемы, как и задумано Партией. Ему хотелось даже не столько быть любимым, сколько сломать стену добродетели, хотя бы раз в жизни. Полноценный половой акт – мятеж, желание близости – помыслокриминал. Даже пробудить чувства в Кэтрин, собственной жене, если бы ему удалось, было бы сродни совращению.

Историю следовало закончить. Уинстон написал:

Я прибавил огня. Увидев ее при свете…

После полумрака слабый свет керосиновой лампы казался очень ярким. Наконец-то Уинстон разглядел женщину как следует. Он шагнул вперед и замер, переполненный похотью и ужасом. Придя сюда, он рисковал многим. Вполне вероятно, что патруль задержит его при выходе – может, они сейчас поджидают прямо у дверей. Даже если уйти, не сделав того, ради чего он здесь…

Это нужно записать, он должен облегчить душу. При свете лампы Уинстон увидел, что женщина старая! Краска покрывала ее лицо густо, как штукатурка, того и гляди треснет. В волосах блестела седина, а страшнее всего был чуть проваленный, приоткрытый рот без единого зуба.

Уинстон торопливо записал корявыми буквами:

Когда я увидел ее при свете, то понял: она очень старая, точно за пятьдесят. Но я двинулся к ней и все равно сделал то, за чем пришел.

Он снова прижал пальцы к глазам. Хотя Уинстон смог себя пересилить и записал все как было, лекарство не сработало. Желание грязно браниться во весь голос

никуда не делось.

VII

«Если и есть надежда, то она заключена в пролах», – записал Уинстон.

Если надежда есть, то она должна заключаться в пролах, ведь только эта зыбкая, отверженная масса, составляющая 85 процентов населения Океании, и способна стать силой, которая уничтожит Партию. Изнутри Партию не одолеть. Ее враги, если они вообще есть, лишены возможности объединиться, узнать друг друга. Даже если легендарное Братство существует, входящим в него никогда не собраться больше, чем по двое-трое. Мятеж проявляется во взгляде, в интонации, максимум в слове, произнесенном шепотом. Зато пролам, если только они осознают собственную силу, незачем устраивать тайные заговоры. Им нужно просто встряхнуться – как лошадь стряхивает мух. Если захотят, пролы могут разорвать Партию на куски завтра же утром. Разумеется, рано или поздно до них дойдет, и все же…

Уинстон вспомнил, как однажды шел по многолюдной улице, и вдруг из узкого проулка чуть впереди раздался рев сотен женских глоток. То был грозный крик гнева и отчаяния, глубокое, громкое: «Ох-о-о-ох!» – еще долго гудело, словно звон колокола. Сердце у Уинстона дрогнуло. Началось, подумал он. Бунт. Пролы наконец-то сорвались с цепи! Подойдя ближе, он увидел толпу из двухсот-трехсот женщин, сгрудившихся у прилавков на рынке, – лица трагичные, как у пассажиров тонущего корабля. Но тут же в единый миг общее отчаяние разбилось на множество мелких свар. За этим прилавком, очевидно, продавали оловянные сотейники. Пусть паршивые, пусть нескладные, но любых видов кастрюльки достать всегда трудно. И вдруг товар закончился. Счастливые покупательницы пытались пробиться сквозь толчею с добычей, те, кому не хватило, громогласно честили продавца, мол, только своим отпускает и прячет товар под прилавком. Снова поднялся крик. Две растрепанные толстухи яростно схватились за один сотейник, каждая тянула к себя, пока не оторвались ручки. Уинстон смотрел на них с отвращением. И все же на краткий миг пара сотен глоток испустила вопль, в котором прозвучала грозная, пугающая сила. Почему они никогда не кричат так из-за того, что действительно важно?

Уинстон написал:

Пока они не обретут самосознание, они не восстанут, а до тех пор, пока не восстанут, самосознание им не обрести.

Похоже на конспект из партийного учебника, подумал Уинстон. Партия, само собой, утверждает, что освободила пролетариев от оков. До Революции их жестоко угнетали капиталисты, они голодали и подвергались телесным наказаниям, женщин заставляли работать на угольных шахтах (кстати, женщины там до сих пор трудятся), детей продавали на фабрики в шестилетнем возрасте. Но одновременно Партия учит, в полном соответствии с принципом двоемыслия, что пролы – существа низшего сорта, которых нужно держать в подчинении как животных, соблюдая несколько простых правил. На самом деле о пролах известно очень мало. Пока они продолжают работать и плодиться, их остальные дела никому не интересны. Предоставленные сами себе, словно скот на равнинах Аргентины, они неизменно возвращаются к своему естественному образу жизни, порядку, как бы унаследованному от предков. Они рождаются и растут в трущобах, в двенадцать лет идут на работу, после короткой поры созревания красоты и полового влечения женятся в двадцать, в тридцать уже стареют, потом умирают по большей части в шестьдесят. Их кругозор ограничен тяжелым физическим трудом, заботой о доме и детях, мелкими ссорами с соседями, кино, футболом, пивом и, конечно, азартными играми. Держать их под контролем несложно. Среди них всегда полно агентов полиции помыслов, они разносят ложные слухи, выискивают и устраняют тех немногих, кто может представлять опасность, однако попыток внушить им партийную идеологию не предпринимается. Политических взглядов пролам иметь не положено. От них требуется лишь примитивный патриотизм, чтобы взывать к нему в случае необходимости: заставлять работать больше часов или мириться с сокращением пайка. Даже если пролов иногда охватывает недовольство, это не приводит ни к чему: у не постигающих общие жизненные принципы смута выливается в мелкие дрязги. Крупные невзгоды от их внимания неизменно ускользают. В домах у подавляющего большинства пролов нет телеэкранов. Уровень преступности в Лондоне высокий, преступная среда образует своего рода государство в государстве, но воры, бандиты, проститутки, торговцы наркотиками и аферисты всех мастей гражданскую полицию не интересуют, пока варятся в своем соку, и

она в их дела практически не вмешивается. Во всех вопросах морали пролам дозволено следовать обычаям предков. На них не распространяются пуританские взгляды Партии на секс. Беспорядочные половые сношения не наказываются, разводы разрешены. В принципе, пролам могли бы позволить даже отправление религиозных обрядов, если бы они выказали такое желание. Пролы ниже подозрений. Или, как гласит партийный лозунг: «Пролы и животные свободны».

Уинстон наклонился и осторожно почесал ногу. Язва снова зудела. Он не мог не думать, что нет ни малейшей возможности узнать, какой на самом деле была жизнь до Революции. Достав из ящика школьный учебник истории, взятый у миссис Парсонс, Уинстон начал выписывать из него в дневник:

В прежние времена, до победоносной Революции, – говорилось в нем, – Лондон был совсем не тем прекрасным городом, который мы знаем. Темное, грязное, скверное место, где люди голодали, где сотни тысяч бедняков ходили босыми и не имели крыши над головой. Детям не старше тебя приходилось трудиться по двенадцать часов на жестоких хозяев, поровших их кнутами, если те работали слишком медленно, и державших бедняг на черствых сухарях и воде. Среди этой ужасной нищеты высились несколько больших, красивых зданий, где жили богачи, которых обхаживало до тридцати слуг. Богатых людей называли капиталистами. Они были толстыми, уродливыми, со злобными лицами. На картинке справа – капиталист, одетый в длинный черный пиджак под названием фрак и нелепую блестящую шляпу в форме печной трубы под названием цилиндр. Такой была форма, и кроме них больше никому не позволялось ее носить. Капиталистам принадлежало все на свете, а все остальные считались их рабами. Они владели всей землей, всеми домами, всеми фабриками и всеми деньгами. Того, кто им не подчинялся, могли бросить в тюрьму, лишить работы и заморить голодом. Если обычный человек говорил с капиталистом, то должен был кланяться, снимать кепку и обращаться к нему «сэр». Глава всех капиталистов назывался король, а…

Остальное в этом перечне Уинстону было известно. Далее последуют епископы с батистовыми рукавами, судьи в отделанных горностаем мантиях, позорные столбы, колодки, топчак, плетки-девятихвостки, банкет у лорд-мэра и обычай целовать туфлю Папы. Было еще и jus primae noctis, так называемое право первой ночи, о чем в учебниках для младших классов вряд ли пишут. Каждый капиталист имел право переспать с любой женщиной, работавшей на его

фабрике.

Как узнать, что из этого ложь? Может статься, среднему человеку сейчас живется лучше, чем до Революции. Единственное доказательство обратного – внутренний немой протест, безотчетное ощущение, что условия твоей жизни невыносимы и так было не всегда. Уинстону пришло в голову, что отличительная черта современной действительности вовсе не жестокость и неуверенность в завтрашнем дне, а убожество. Ни малейшего сходства с тем, что потоками льется с телеэкранов, не говоря уже об идеалах, к которым стремится Партия. Даже партийцы тратят бо?льшую часть времени не на политику, а на скучную работу и борьбу за место в подземке, штопают дырявые носки, выпрашивают лишнюю таблетку сахарина, курят бычки. Партийный идеал – огромный, прекрасный и сверкающий мир, союз стали и бетона, исполинских машин и страшного оружия, нация воинов и фанатиков, которые маршируют вперед в едином порыве, думают одно и то же, кричат одни и те же лозунги, вечно работают, сражаются, побеждают, карают – триста миллионов человек на одно лицо. В реальности же хиреющие города, грязные улицы, где бродят полуголодные жители в дырявой обуви и стоят покосившиеся домишки прошлого века, насквозь провонявшие капустой и уборной. Перед мысленным взором Уинстона раскинулся разоренный Лондон, город миллиона мусорных баков, спаянный с образом миссис Парсонс, женщина с морщинистым лицом и растрепанными волосами, которая беспомощно возится с засором в трубе.

Он наклонился и снова почесал лодыжку. День и ночь телеэкраны бьют тебя по ушам статистикой, доказывающей, что сегодня у людей больше еды и одежды, дома? лучше, что живут они дольше, работают меньше, отдыхают больше, стали выше, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, образованнее, чем пятьдесят лет назад. И ничего не докажешь, ничего не опровергнешь. К примеру, Партия заявляет, что сегодня грамотой владеют сорок процентов взрослых пролов, а до Революции – всего пятнадцать. Партия заявляет, что детская смертность составляет сто шестьдесят младенцев на тысячу, а до Революции – триста. И так далее. Словно уравнение с двумя неизвестными. Вполне может статься, что практически каждое слово в учебниках истории – чистой воды выдумка. И не было до Революции никакого jus primae noctis, ни капиталистов, ни цилиндров.

Все как в тумане. Прошлое стирают, потом забывают, и ложь становится правдой. Лишь раз в жизни Уинстону попалось – после самого события, вот что самое главное! – явное, безошибочное свидетельство фальсификации. Он держал его в руках секунд тридцать. Это было году в семьдесят третьем… когда

они с Кэтрин расстались. Само событие произошло семью или восемью годами ранее.

Эта история началась еще в середине шестидесятых, во время массовых чисток, в которых разом канули бывшие лидеры Революции. К семидесятому году не осталось никого, кроме Большого Брата. Всех прочих уличили в измене и контрреволюционной деятельности. Гольдштейн бежал и скрывался неизвестно где, некоторые просто испарились, а большинство казнили после громких публичных судов, где они признались в своих преступлениях. Среди последних уцелевших были трое деятелей по имени Джонс, Аронсон и Резерфорд. Арестовали их году в шестьдесят пятом. Как часто случается, они пропали на год-другой, никто не знал, живы они или мертвы, как вдруг все трое объявились с покаянными излияниями. Признались в сговоре с врагом (на тот момент им тоже была Евразия), хищении государственных средств, убийствах всевозможных деятелей Партии, кознях против Большого Брата задолго до Революции и диверсиях, приведших к гибели сотен тысяч жертв. После признания их помиловали, восстановили в Партии, поставили на ответственные должности, бывшие, по сути, синекурами. Все трое написали для «Таймс» длинные статьи, где каялись в преступлениях, разбирали мотивы своего отступничества и обещали исправиться.

Вскоре после освобождения Уинстон видел всех троих в кафе «Каштан». Он наблюдал за ними как завороженный, одновременно ужасаясь и не в силах не смотреть. Реликты древнего мира, они были гораздо старше его, почти последние великие деятели, составлявшие героическое прошлое Партии. Их осенял отблеск подпольной борьбы и гражданской войны. Хотя уже тогда факты и даты приобретали смутные очертания, Уинстону казалось, что их имена услышал раньше имени Большого Брата. Вместе с тем вся троица – преступники, враги, неприкасаемые, обреченные на уничтожение в ближайшие год-два. Никто из попавших в лапы полиции помыслов еще не избегал такого конца. Они мертвецы, ожидающие отправки обратно в могилу.

Соседние столики пустовали: никто не рисковал появляться в компании подобных людей. Трое молча сидели за джином, приправленным гвоздикой, – фирменным напитком кафе. Особенно Уинстона поразил Резерфорд, некогда известный карикатурист, чьи безжалостные шаржи разжигали страсти, подогревая общественное мнение до и во время Революции. Даже теперь, хотя и с большими перерывами, его рисунки появлялись в «Таймс» – бледное подражание прежним карикатурам, на диво безжизненные и малоубедительные.

В них повторялись одни и те же старые темы: трущобы, голодающие дети, уличные бои, капиталисты в черных цилиндрах (даже на баррикадах капиталисты цеплялись за свои цилиндры) – бесконечная, безнадежная попытка вернуться в прошлое. На вид Резерфорд казался чудищем: огромное тело, грива сальных волос, одутловатое, изборожденное морщинами лицо, толстые, по-негритянски вывернутые губы. Когда-то, видимо, он был незаурядно физически силен, теперь же мускулистое тело расплылось, обвисло, где-то вздулось, где-то ввалилось: он разваливался на глазах, словно осыпающаяся скала.

В кафе было почти пусто, посетителей в пятнадцать часов всегда немного. Уинстон не помнил, зачем пришел туда в такой час. С телеэкранов раздавалась дребезжащая, назойливая музыка. Все трое сидели в углу почти без движения, совершенно молча. Не дожидаясь просьбы повторить, официант принес еще три стакана джина. На столике позади них лежала шахматная доска с расставленными фигурами, но никто не играл. И вдруг, пожалуй, всего на полминуты, с телеэкранами что-то случилось. Сменилась звучавшая с них мелодия, изменилась и тональность музыки. В ней слышалось… даже трудно описать. Слышалось в этой мелодии (Уинстон мысленно назвал ее бульварщиной) нечто необычное, надсадное, истошное, глумливое. А потом с телеэкрана голос пропел:

Под раскидистым каштаном

Сдал я тебя, а ты меня.

Под раскидистым каштаном

Ты лежишь и рядом я.

Трое не шелохнулись. Но, когда Уинстон снова глянул на мертвенное лицо Резерфорда, в глазах у того стояли слезы. И тогда Уинстон впервые заметил, внутренне содрогнувшись, но так и не осознав, чему он содрогнулся, что и у Аронсона, и у Резерфорда сломаны носы.

Немного погодя всех троих снова арестовали. Выяснилось, что сразу после освобождения они вступили в очередной заговор. На втором суде трое опять признались в старых преступлениях и целой куче новых. Их казнили, а деяния увековечили в истории Партии как предостережение для грядущих поколений. Лет через пять, в семьдесят третьем, Уинстон развернул бумажки, выпавшие из пневмотрубы на рабочий стол, и обнаружил случайно затесавшийся между ними

листок. Его важность он понял сразу. Это была вырезка из газеты десятилетней давности – верхняя половинка страницы – с датой и фотографией делегатов на каком-то партийном мероприятии в Нью-Йорке. Прямо в центре группы стояли Джонс, Аронсон и Резерфорд. Узнать их не составило труда, к тому же под снимком напечатали имена.

На обоих судах все трое признались, что в тот самый день находились на территории Евразии. Они вылетели с секретного канадского аэродрома в Сибирь и провели переговоры с генеральным штабом Евразии, которому и передали важные военные тайны. Дата врезалась Уинстону в память, потому что выпала на День летнего солнцестояния. Наверняка мероприятие широко освещалось, что зафиксировано в массе других источников. Отсюда могло следовать только одно: все их признания – ложь.

Разумеется, это не сильно его удивило. Даже тогда Уинстону слабо верилось, что жертвы массовых чисток действительно совершили все те преступления, в которых их обвиняли. Теперь же в руки ему попало железобетонное доказательство, фрагмент утраченного прошлого: так кость ископаемого животного, найденная не в том слое, рушит стройную геологическую теорию. Если бы удалось придать это огласке и разъяснить людям, почему это так важно, – хватило бы, чтоб распылить Партию на атомы.

Уинстон поспешно приступил к работе. Разглядев снимок и осознав его значение, он быстро положил сверху лист бумаги. По счастью, когда Уинстон разворачивал газетную вырезку, та виделась с телеэкрана задом наперед. Он отодвинул стул подальше от телеэкрана. Сохранять невозмутимое лицо несложно, при должном усилии дыхание тоже удается контролировать, другое дело – унять сердцебиение, ведь телеэкран вполне способен его уловить. Уинстон выждал минут десять, изнывая от страха перед непредвиденным: вдруг по столу пробежит сквозняк и выдаст его? Затем, прихватив верхний лист вместе с фотографией, швырнул бумажный мусор в дыру памяти. И через минуту газетная фотография обратилась в пепел.

Произошло это лет десять-одиннадцать назад. Сегодня Уинстон фотографию сохранил бы. Странно, но пусть от фото и от самого события осталось только воспоминание, для него очень важно, что ему удалось подержать газетную вырезку в руках. Интересно, может ли власть Партии над прошлым ослабеть из-за доказательства, которого больше не существует?

Впрочем, даже если бы фото удалось возродить из пепла, сегодня оно вряд ли что-то докажет. Когда Уинстон его обнаружил, Океания уже не воевала с Евразией, значит, трое мертвецов продали свою страну агентам Востазии. С тех пор враг менялся два-три раза, если не больше. Признания наверняка переписывали снова и снова, пока первоначальные факты и даты не утратили всякое значение. Прошлое не просто менялось, оно не переставало меняться. Самое кошмарное заключалось в том, что Уинстон не понимал, к чему так утруждаться. Прямые преимущества фальсификации прошлого были очевидны, однако конечная цель оставалась загадкой. Он снова взял перо и написал:

Я понимаю КАК. Понять не могу ЗАЧЕМ.

Уинстон в очередной раз задался вопросом, не сошел ли с ума он сам. Наверное, быть в меньшинстве и есть сумасшествие. Когда-то считалось безумием верить, что Земля вращается вокруг Солнца; сегодня – что прошлое неизменно. Возможно, в это верит лишь он, а если ты один, то сумасшедший. Впрочем, пугает другое: вдруг он тоже ошибается?

Уинстон взял школьный учебник по истории с портретом Большого Брата на обложке. Гипнотический взгляд вонзался прямо в душу. Чудовищная сила проникала в череп, била по мозгам, запугивала, заставляла отказаться от своих убеждений, внушала не верить собственным глазам. В итоге Партия объявит, что дважды два пять, – и придется в это поверить. Рано или поздно они так и сделают: логика положения их просто обязывает. Генеральная линия Партии негласно отрицает не только достоверность восприятия, но и существование объективной реальности. Откровенная чушь – здравый смысл. Самое ужасное не в том, что тебя убьют за инакомыслие, а в том, что они могут быть правы. Если уж на то пошло, откуда известно, что дважды два четыре? Или что гравитация действует? Или что прошлое неизменно? Если и прошлое, и объективная реальность существуют лишь в сознании, а сознание можно контролировать, что тогда?

Нет уж! Внезапно к Уинстону вернулось мужество. В сознании возникло лицо О’Брайена, просто так, без видимых причин. Теперь он точно знал, что О’Брайен на его стороне. Он ведет дневник для О’Брайена и обращается к О’Брайену. Словно пишет бесконечное письмо, которое никто не прочтет, зато конкретность

адресата придает писанине красок.

Партия велит не верить своим глазам и ушам. Это и есть ее окончательный, самый важный приказ. Сердце Уинстона упало при мысли, какой колоссальной силе он противостоит, с какой легкостью отметет его доводы любой партийный деятель, какими изощренными аргументами закидает… их не то что опровергнуть, понять-то невозможно… И все же ошибаются они, а он прав! Очевидное, простое, истинное нужно защищать. Прописные истины не лгут, их и надо держаться! Незыблемый мир существует, законы его неизменны. Камни – твердые, вода – мокрая, подброшенный предмет падает вниз. Чувствуя, что обращается к О’Брайену и вместе с тем выдвигает важную аксиому, он вывел:

Свобода – это свобода заявить, что два плюс два равно четырем. Если это обеспечено, все остальное приложится.

VIII

Из глубины боковой улочки донесся аромат жареного кофе, настоящего, не «Победы». Уинстон невольно замер. На пару секунд он перенесся в полузабытый мир детства. Потом хлопнула дверь, и запах исчез.

Он прошел по улицам несколько километров, и язва на ноге разболелась. Уже второй раз за три недели он пропустил вечер во Дворце культуры: опрометчивый поступок, учитывая, что количество посещений тщательно проверяют. По идее, свободного времени у членов Партии нет вовсе, а в одиночестве они остаются лишь в своей постели. Предполагается, что, когда ты не работаешь, не ешь и не спишь, то принимаешь участие в коллективных мероприятиях, поэтому заниматься чем-то в одиночку, хотя бы просто гулять по улицам, опасно. В новослове даже существует такой термин: «самобыт», означающий индивидуализм и чудачество. Но благоуханный апрельский воздух заставил Уинстона забыть об осторожности. Небо голубело так нежно, что, выйдя из министерства, он понял: очередного длинного, шумного вечера в ДК, где ждут его скучные настольные игры, лекции, натужное общение с товарищами по Партии, щедро сдобренное джином, он просто не вынесет. Повинуясь внезапному порыву, Уинстон свернул в противоположную автобусной остановке

сторону и побрел по лабиринту улочек Лондона куда глаза глядят: сначала на юг, потом на восток, затем на север.

«Если и есть надежда, – написал он в дневнике, – то она заключается в пролах». Фраза продолжала его преследовать: мистическая истина и явная нелепость. Уинстон очутился в глухих, бурых трущобах к северо-востоку от места, где раньше был вокзал Сент-Панкрас. Он шел по мощеной улице с двухэтажными домишками, чьи обветшалые подъезды выходили прямо на тротуар и сильно смахивали на крысиные норы. Среди брусчатки виднелись грязные лужи. И в темных проемах, и в тесных проходах между домами сновали целые толпы: девушки в самом соку с ярко накрашенными губами, и бегающие за ними парни, и ходящие вразвалочку обрюзгшие тетки, глядя на которых понимаешь, во что превратятся эти девушки лет через десять, и шмыгающие подошвами согбенные старухи, и босые детишки-оборванцы, что играют в лужах и разбегаются от сердитых окриков матерей. Около четверти окон на улице были разбиты и заколочены досками. Большинство пролов не обращали на Уинстона внимания, лишь некоторые поглядывали с настороженным любопытством. В дверях стояли и, сложив на фартуках кирпично-красные ручищи, беседовали две пугающе громадные бабы. Подходя, Уинстон расслышал обрывок разговора.

– Так-то оно так, говорю я ей, только на моем месте, говорю, ты бы сделала то же самое. Судить-рядить-то всяк горазд, а тебе б мои проблемы!

– Ну да, – кивнула вторая, – так и есть. Куда уж ей понять!

Громкие голоса резко оборвались. Женщины проводили Уинстона враждебным молчанием. Впрочем, вряд ли враждебным, опасливым, с каким оглядывают проходящего рядом незнакомого зверя. Едва ли синий комбинезон партийца видят на подобных улицах часто. На самом деле заявляться в кварталы пролов по собственной инициативе неразумно. Нарвешься на патруль, придется отвечать на вопросы. «Будьте добры предъявить свои документы, товарищ. Что вы здесь делаете? Когда вышли с работы? Вы всегда идете домой этой дорогой?» – и так далее, и тому подобное. Ходить по непривычному маршруту не возбраняется, но полицию помыслов это точно насторожит.

Внезапно улица пришла в смятение. Со всех сторон раздались крики предостережения. Люди ныряли в дверные проемы, словно кролики. Чуть впереди Уинстона молодая мать выскочила из дома, выхватила из лужи малыша, обернула передником и тут же шмыгнула обратно. Из боковой улочки выбежал

человек в мятом, будто жеваном, костюме и кинулся к Уинстону, встревоженно тыча в небо.

– Паровик! – заорал он. – Хоронись, начальник! Бабах сверху! Ложись!

Паровиками пролы почему-то называли ракетные боеголовки. Уинстон поспешно упал ничком. Пролы в таких делах редко ошибаются. У них какое-то особое чутье, которое срабатывает за несколько секунд до удара, хотя ракеты летят быстрее звука. Уинстон накрыл голову руками. От взрыва содрогнулся тротуар, на спину дождем посыпался легкий мусор. Поднявшись, он обнаружил на одежде осколки ближайшего окна.

Уинстон пошел дальше. Ракета разворотила несколько домов метрах в двухстах впереди. В небе висел столб черного дыма, в клубах пыли возле развалин собиралась толпа. Тротуар завалила куча штукатурки с ярко-красным пятном посередине. Подойдя ближе, Уинстон разглядел на куче оторванную человеческую кисть. Если не считать окровавленного среза, побелевшая рука выглядела словно гипсовый слепок. Отшвырнув обрубок ногой в канаву, Уинстон свернул направо, чтобы разминуться с толпой.

Через три-четыре минуты он вышел из района падения ракеты, за пределами которого убогая жизнь трущоб кишела как ни в чем не бывало. Время приближалось к двадцати часам, и питейные заведения для пролов (те называли их пабами) ломились от посетителей. Грязные двухстворчатые двери беспрестанно открывались и закрывались, изнутри несло мочой, древесными опилками и кислым пивом. В углу возле выступающей стены сгрудились три прола: тот, что в центре, держал сложенную газету, а двое других заглядывали ему через плечо. Издалека лиц не разобрать, зато позы выражали полную сосредоточенность. Казалось, пролы обсуждали какую-то очень важную новость. Когда Уинстону оставалось до них несколько шагов, троица внезапно разделилась, и двое принялись яростно спорить, того и гляди пустят в ход кулаки.

– Совсем оглох? Говорю же, за четырнадцать месяцев ни один номер с семеркой на конце не выигрывал!

– А вот и нет!

– А вот и да! Дома у меня есть бумажка с номерами за два года! Говорю же, ни один номер с семеркой…

– Семерка выигрывала! Я тот чертов номер помню почти наизусть! Заканчивается на четыре-ноль-семь. В феврале то было, вторая неделя февраля.

– Да иди ты со своим февралем знаешь куда! У меня все черным по белому записано. Говорю же, ни один номер…

– Заглохли! – прикрикнул третий.

Обсуждалась Лотерея. Пройдя метров тридцать, Уинстон обернулся. Пролы все еще увлеченно спорили. Похоже, еженедельная Лотерея с ее огромными выигрышами была единственным общественным событием, живо интересовавшим пролов. Миллионы их только ею и живут: для кого услада, для кого страсть, для кого средство от всех скорбей и болезней. Даже те, кто едва способен читать и писать, блистают сложнейшими расчетами и феноменальной памятью во всем, что касается Лотереи. Продажами всевозможных систем, прогнозов и талисманов промышляет целая группировка. Уинстон не имел к Лотерее никакого отношения: ею занималось министерство благополучия – просто ему было известно (на деле про то осведомлены были все в Партии), что выигрыши по большей части мнимые. Выплачиваются только мизерные суммы, а обладатели крупных призов – лица вымышленные. В отсутствие сообщения между разными частями Океании устроить это нетрудно.

Но если и есть надежда, то она в пролах. Этой истины и будем придерживаться. Облеченная в слова, она звучит вполне разумно, когда видишь людей, спешащих мимо по тротуару, она становится испытанием веры. Улица, на которую Уинстон свернул, пошла под уклон. Район выглядел смутно знакомым, неподалеку вроде бы находилась внутригородская магистраль. Впереди раздался гомон голосов. Крутой поворот, и лестница вывела в проулок, где лавочники торговали привядшими овощами. Уинстон понял, куда забрел: проулок ведет на магистраль, за следующим поворотом, минутах в пяти ходьбы, та самая лавка старьевщика, где он купил книгу с пустыми листами для дневника. Чуть поодаль находится писчебумажный магазинчик, где он приобрел ручку и чернила.

На верхней ступеньке Уинстон помедлил. В дальнем конце проулка притулился захудалый маленький паб с как бы заиндевевшими (на самом деле просто

заросшими пылью) окнами. Глубокий старик с усами, как у таракана, скрюченный, но весьма бодрый, толкнул двойные двери и вошел внутрь. Уинстону пришло в голову, что ему лет восемьдесят, значит, Революцию встретил уже немолодым, он и его сверстники – последняя связь с исчезнувшим миром капитализма. В самой Партии осталось мало тех, чьи взгляды сложились до Революции. Старшее поколение по большей части кануло в массовых чистках пятидесятых и шестидесятых, а немногие уцелевшие запуганы до такой степени, что полностью отступились от прежних взглядов. Если кто из ныне живущих и способен рассказать правду об условиях жизни в начале века, так это прол. Внезапно Уинстону вспомнился фрагмент из школьного учебника истории, который он переписал в дневник, и у него возникла безумная идея. Нужно отправиться в паб, познакомиться с тем стариком и расспросить его хорошенько: «Расскажите о своем детстве. Как вам тогда жилось? Лучше или хуже, чем сейчас?»

Торопливо, боясь передумать, он спустился по ступеням и пересек узкую улочку. Чистое безумие! Как водится, никакого прямого запрета на посещение пабов и разговоры с пролами не существовало, но за такое сумасбродство наверняка придется ответить. Если нагрянет патруль, можно сослаться на внезапную слабость, хотя вряд ли ему поверят. Уинстон толкнул двери, и в лицо ударила вонь кислого пива. Когда он вошел, гомон голосов снизился примерно вполовину. Все воззрились на синий комбинезон партийца. Игра в дартс в конце паба замерла секунд на тридцать. Старик, за кем следовал Уинстон, стоял у стойки, препираясь с барменом, дородным, упитанным молодым человеком с крючковатым носом и могучими ручищами. Вокруг толпились посетители со стаканами в руках, наблюдая за происходящим.

– Я ж с тобой вполне вежливо, по-людски, – недовольно бурчал старик, воинственно расправляя плечи. – А ты, кровосос, мне про то, что во всей твоей клятой забегаловке не сыщется кружка в пинту?

– Что, черт, за название такое пинта? – подался вперед бармен, упершись пальцами в стойку.

– Ишь ты! Бармен называется, а что такое пинта не знает. Пинта – это полкварты, четыре кварты – галлон. Мож, тебя еще и алфавиту придется учить?

– Никогда не слыхал о таком, – отрезал бармен. – Литр и пол-литра, мы только в таких подаем. Стаканы на полке прямо перед вами.

– Хочу пинту! Мог бы и нацедить старику. В мое время никаких клятых литров и помину не было.

– В ваше время, папаша, все жили на деревьях, – заявил бармен, бросив взгляд на посетителей.

Те взревели от смеха, и неловкость, вызванная приходом Уинстона, вроде бы исчезла. Усатый старик побагровел. Он отвернулся, бормоча себе под нос, и врезался в Уинстона. Тот бережно взял его под руку.

– Позвольте вас угостить, – предложил он.

– Уважь! – обрадовался тот, расправив плечи. Внимания на синий комбинезон Уинстона он, похоже, не обратил. И сварливо добавил: – Пинту! Пинту эля.

Бармен подхватил два пол-литровых бокала, ополоснул в ведре под стойкой и налил темного пива. В пабах пролов не подавали ничего, кроме пива. Джин им не положен, хотя при желании его можно раздобыть. Игра в дартс возобновилась, компания у стойки заговорила про лотерейные билеты. Об Уинстоне ненадолго забыли. Заметив у окна свободный стол из сосновых досок, он решил расспросить старика там. Конечно, затея ужасно опасная, но телеэкранов в зале нет, Уинстон убедился в том сразу, едва вошел.

– Мог бы и пинту мне поставить, – проворчал старик, устраиваясь с бокалом. – Пол-литра маловато, не напиваешься. А целый литр слишком много, потом не набегаешься. Не говоря уж про цену.

– Со времен вашей молодости многое, должно быть, изменилось, – осторожно начал Уинстон.

Взгляд бледно-голубых глаз прошелся от мишени для дартса к стойке, от нее к двери туалета, словно старик ожидал увидеть перемены прямо в пабе.

– Пиво было лучше, – наконец проговорил он. – И дешевле! Я когда молодым был, мягкое пиво… – мы его крепышом звали – было по четыре пенса за пинту. Это до войны, конечно.

– До какой войны? – спросил Уинстон.

– До всех войн, – уклончиво ответил старик. Он поднял бокал и снова распрямил плечи. – Ну, твое здоровье!

Заостренный кадык на тощем горле на удивление шустро заходил вверх-вниз, и пиво исчезло. Уинстон сбегал к стойке и вернулся еще с двумя бокалами. Похоже, старик забыл о своем предубеждении против целого литра.

– Вы намного меня старше, – заговорил Уинстон. – Наверное, стали взрослым задолго до моего рождения и помните, каково жилось в старину, до Революции. Мои сверстники знают о тех временах только из книг, но правду ли там пишут? Хотел бы узнать ваше мнение. В учебниках по истории говорится, что жизнь до Революции была совершенно другой. Страшная, невообразимая бедность, несправедливость, угнетение. В Лондоне огромные массы людей голодали с рождения до смерти, половина из них ходила босиком. Работали по двенадцать часов в день, в девять лет бросали школу, спали по десять человек в комнате. А вместе с тем очень немногие, всего несколько тысяч – их капиталистами звали, – жили богато и владели всем, чем можно. Занимали роскошные дома с тридцатью слугами, разъезжали на автомобилях и в запряженных четверкой лошадей каретах, пили шампанское, носили цилиндры…

Старик внезапно оживился.

– Цилиндры! – воскликнул он. – Забавно, что ты про них вспомнил. Я вчерась тоже… невесть почему. Подумалось, уж сколько лет их не видать! Пропали прям. Я последний раз такой надевал на похоронах невестки. Когда точно, не скажу, лет пятьдесят тому. Не свой, ты ж понимаешь, напрокат брал для церемонии.

– Дело вовсе не в цилиндрах, – терпеливо сказал Уинстон. – Эти капиталисты вместе со своими адвокатами, духовенством и прочими, кто при них кормился, владели всем миром. Все существовало только ради их блага. Вы, обычные люди, рабочие, были их рабами. Они могли делать с вами все что угодно. Могли отправить в Канаду как скот, могли спать с вашими дочерьми, могли приказать выпороть вас плетками-девятихвостками. Перед ними приходилось снимать шапку. Каждый капиталист разгуливал с оравой лакеев, которые…

Старик снова встрепенулся.

– Лакеи! – воскликнул он. – Давненько не слыхал! Лакеи! Помню-помню! Черт знает сколько лет назад… в общем, по воскресеньям я хаживал в Гайд-парк речи послушать. Армия Спасения, римские католики, евреи, индусы – кого туда только не заносило. И вот один парень… имени не скажу, но как говорил – заслушаешься! Спуску им не давал. Лакеи, кричал он, лакеи буржуазии! Холуи правящего класса! Паразиты! Как только не костерил. И гиены! Точно, гиенами тоже называл. Само собой, это про партию лейбористов, ты ж понимаешь.

Уинстона не покидало ощущение, что говорят они о разном.

– Меня интересует другое, – сказал он. – Свободнее ли вам живется, чем тогда? С вами лучше обращаются? В прежние времена богачи, правящая верхушка…

– Палата лордов, – задумчиво пробурчал старик.

– Ну да, она самая, если угодно. Я вот о чем: с вами обращались свысока просто потому, что они богатые, а вы бедный? К примеру, правда ли, что капиталистов надо было называть сэрами и снимать перед ними кепку?

Старик крепко задумался и отпил четверть бокала.

– Да, – ответил он. – Им нравилось, когда ты честь отдавал. Знак уважения как бы. Сам-то я был против, но тоже так делал. Приходилось, ты ж понимаешь.

– А считалось ли в порядке вещей… я сам прочел в учебнике истории… часто ли богачи и их слуги сталкивали вас с тротуара в канаву?

– Разок было дело, – кивнул старик. – Помню как вчера! В вечер Лодочной гонки… любили они покуражиться после гонки… столкнулся я с одним таким на Шафтсбери-авеню. Настоящий джентльмен: сорочка парадная, цилиндр, черное пальто. Идет, вишь, зигзагами, ну, я в него ненароком и врезаюсь. Орет мне: не видишь, куда прешь? А я ему: думаешь, весь клятый тротуар купил? Он мне: не дерзи, не то башку откручу. А я ему: ты пьяный, щас полиции тебя сдам! Хотите верьте, хотите нет, хватает он меня за грудки и толкает чуть ли не под автобус. Ну а я-то тогда молодой был, уж и навешал бы ему, если б…

Уинстон беспомощно сник. Память старика – просто груда хлама. Хоть целый день расспрашивай, толку никакого. История Партии может быть правдой отчасти, а может и целиком. Он сделал последнюю попытку.

– Видимо, я неясно выразился. Вот что я хочу сказать: вы живете очень давно, половина жизни прошла до Революции. К примеру, в тысяча девятьсот двадцать пятом вы уже были взрослым. Вам как помнится, в двадцать пятом жилось лучше или хуже? Если выбирать, вы когда хотели бы жить, тогда или сейчас?

Старик, задумчиво глядя на мишень, медленно осушил бокал. Заговорил он философски снисходительно, словно смягчился от пива.

– Знаю, чего ты ждешь. Мол, скажу, что обратно хочу молодым стать. Многие так и скажут. В молодости и здоровья хватает, и сил. Как до моих-то лет добираешься, уж никакого здоровья нет. Ноги еле ходят, мочевой пузырь замучил. За ночь по шесть-семь раз встаю. Обратно же, старику свои радости! Никаких тех забот. Никаких баб не надо, а это великое дело. Я с бабой уж лет тридцать не путался, поверишь? Того больше – и желания не было.

Уинстон откинулся к подоконнику. Продолжать не имело смысла. Он собрался взять еще пива, и вдруг старик поднялся и поспешно зашаркал к пропахшей мочой части паба. Лишние пол-литра дали о себе знать. Уинстон посидел, глядя в пустой стакан, и едва заметил, как ноги снова вынесли его на улицу. Лет через двадцать на простой вопрос: «Как жилось до Революции?» – не сможет ответить никто. По сути, на этот вопрос уже некому отвечать: немногие уцелевшие с тех времен не способны сравнить две эпохи. Помнится миллион ненужных вещей: ссора с напарником, поиски потерянного велосипедного насоса, выражение лица давно умершей сестры, клубы пыли ветреным утром семьдесят лет назад, – зато все главные факты из поля зрения выпадают. Когда откажет память, а письменные свидетельства заменят подделками, когда это произойдет, то все поверят Партии, что условия жизни улучшились, ведь будет не с чем сравнивать…

Внезапно ход мыслей Уинстона резко оборвался. Он остановился и поднял взгляд. Узкая улица с темными магазинчиками среди жилых домов, прямо над головой – облезлые металлические шары, некогда позолоченные. Знакомое место. Ну конечно! Уинстон стоял возле лавки старьевщика, где купил свой дневник.

Его охватил страх. После той опрометчивой покупки он дал себе слово никогда не возвращаться в лавку. И все же стоило впасть в раздумья, как ноги сами принесли его сюда. Дневник Уинстон завел как раз для того, чтобы избавиться от подобных самоубийственных порывов. Тем не менее заметил, что, несмотря на поздний час – было около двадцати ноль-ноль, – лавка открыта. Чем маячить перед входом, лучше зайти внутрь, рассудил Уинстон. Если спросят, скажет, что искал бритвенные лезвия.

Хозяин лавки подвесил зажженную керосиновую лампу, от которой исходил резкий, но какой-то мирный запах. Книжнику было лет шестьдесят, тело хрупкое и сутулое, нос длинный и крупный, искаженные толстыми линзами очков глаза смотрели ободряюще. Волосы почти седые, зато брови густые и черные. Очки, спокойные хлопотливые движения, потертый пиджак из черного бархата придавали ему интеллигентный вид: то ли литератор, то ли музыкант. Голос его звучал мягко, словно вылинял, и выговор не так резал ухо, как у большинства пролов.

– Я узнал вас еще на тротуаре! Вы тот джентльмен, который купил альбом для девушек. Бумага там красивая, конечно. Ее называли «верже сливочного цвета». Такой больше не делают – сколько? – лет пятьдесят, пожалуй. – Он посмотрел на Уинстона поверх очков. – Ищете что-нибудь особенное или просто поглядеть зашли?

– Мимо проходил, – неохотно признался Уинстон. – Ничего конкретного я не ищу.

– Вот и хорошо, – сказал хозяин, – потому что предложить мне нечего. – Он виновато развел руками. – Сами видите, в лавке хоть шаром покати. Между нами говоря, торговля антиквариатом умирает. Спроса нет, предложения тоже. С годами мебель поломалась, фарфор и стекло разбились. Металлические изделия по большей части пошли в переплавку. Латунных подсвечников я не видел уже много лет.

Крохотную лавку и впрямь загромождал старый хлам, ничего мало-мальски ценного. Всю полезную площадь вдоль стен занимали пыльные рамы для картин, на окне стояли лотки с гайками и болтами, сточенными стамесками, перочинными ножиками со сломанными лезвиями, потускневшими наручными часами, даже не пытавшимися прикинуться исправными, и прочим старьем. Лишь столик был отведен под более сто?ящие: лакированные табакерки, агатовые брошки и тому подобную мелочь, – среди которых могло отыскаться

что-то интересное. Уинстон заметил какую-то гладкую штуку, нежно мерцавшую при свете лампы, и взял в руки.

Это был тяжелый кусок стекла – округлый с одной стороны и плоский с другой, образующий полусферу. И в цвете, и в фактуре присутствовала необычайная мягкость, свойственная дождевой воде. В середине находился какой-то причудливый розовый завиток, напоминающий розу или актинию.

– Что это? – восхищенно спросил Уинстон.

– Коралл, – ответил старик. – Должно быть, с Индийского океана. Раньше их заливали прозрачным стеклом. Изготовлено не менее ста лет назад или даже больше, судя по виду.

– Красивая вещица, – проговорил Уинстон.

– Красивая, – одобрительно кивнул старик. – Сегодня это мало кто ценит. – Он прочистил горло. – Что ж, могу уступить за четыре доллара. Помню, когда-то за подобную вещицу давали восемь фунтов – сколько это не скажу, но очень много. Впрочем, кому сейчас нужны подлинные старинные диковинки?

Уинстон немедленно отсчитал деньги и сунул заветную вещицу в карман. Его привлекла не столько ее красота, сколько возможность обладать предметом из совершенно другой эпохи. Гладкое, похожее на дождевую воду стекло разительно отличалось от нынешнего. Особое очарование таилось в полной бесполезности этой безделушки, хотя, судя по весу, ее использовали в качестве пресс-папье. Карман она оттягивала сильно, зато почти не выпирала. При встрече с патрулем подобный предмет мог и скомпрометировать: все старое и тем более красивое неизменно вызывало подозрения.

Получив четыре доллара, старик заметно оживился. Уинстон понял, что мог бы сторговать вещь за три, а то и за два доллара.

– Не желаете взглянуть на комнату наверху? – предложил хозяин. – Вещей там немного, конечно. Если пойдем, понадобится свет.

Он зажег еще одну лампу, медленно поднялся по крутым стершимся ступенькам, прошел по короткому коридорчику и открыл дверь в комнату, выходившую окнами не на улицу, а на мощенный булыжником двор и лес дымоходных труб. Расставленная мебель придавала комнате жилой вид. На полу лежала ковровая дорожка, на стенах висела пара картин, у камина стояло глубокое, потрепанное кресло. На полочке над ним тикали старинные часы с циферблатом на двенадцать цифр. Почти четверть комнаты занимала огромная кровать с голым матрасом.

– Мы тут жили, пока жена не умерла, – сообщил старик, как бы извиняясь. – Сейчас я понемногу распродаю мебель. Прекрасная кровать из красного дерева, только бы клопов вывести… Хотя вы, наверное, сочтете ее излишне громоздкой.

Он держал лампу высоко, освещая всю комнату, и в теплом тусклом свете она выглядела на удивление уютно. У Уинстона мелькнула шальная мысль, что ее можно снять всего за несколько долларов в неделю. Идея, конечно, дикая, но комната пробудила в нем чувство ностальгии, что-то вроде памяти предков. Он легко представил, каково это: сидеть в кресле у открытого огня, закинув ноги на каминную решетку, и ждать, пока закипит чайник; совершенно один, в полной безопасности, без лишних глаз и приказов с телеэкрана, без лишних звуков, кроме пения чайника и мирного тиканья часов.

– Здесь нет телеэкрана! – невольно вырвалось у него.

– Ну да, – кивнул старик, – и не было никогда. Слишком дорого. Да и зачем он мне? Поглядите-ка лучше на тот славный складной столик в углу! Конечно, если надумаете использовать откидные доски, петли надо бы заменить.

В другом углу стоял маленький книжный шкаф, к которому Уинстона неодолимо влекло. Увы, сплошной хлам. В свое время книги методично выискивали и уничтожали, и эти рейды проделали в кварталах пролов такие же бреши, как и везде. Вряд ли во всей Океании уцелела хоть одна книга, изданная до шестидесятого года. Старик поднес лампу к картине в палисандровой раме, висевшей сбоку от камина, напротив кровати.

– Если вас интересуют старинные гравюры… – ненавязчиво начал он.

Уинстон подошел к репродукции. Это была гравировка на стали: впереди овальное здание с прямоугольными окнами и маленькой башенкой, на заднем плане – ограда и статуя. Уинстон задержал взгляд. Вроде бы место знакомое, только статуи он не помнил.

– Рама прикручена к стене, – сказал старик. – Если хотите, могу и снять.

– Я знаю это здание, – наконец проговорил Уинстон. – От него остались одни руины. В середине улицы возле Дворца правосудия.

– Верно. Неподалеку от Королевского суда. Его разбомбили много лет назад. Когда-то там была церковь Святого Климента Датского. – Старик виновато улыбнулся, словно сказал нелепость, и добавил: – Динь-дон, апельсины и лимон, с колокольни гудит Сент-Клемент…

– Как-как? – удивился Уинстон.

– Ах, это… Был такой стишок в моем детстве. Дальше не помню, только концовку: «Вот свечка, на пути в кроватку светить, а вот и палач идет – тебе головку с плеч рубить!» Мы под это танцевали. Дети поднимают руки над головой, ты идешь между ними, а на словах «вот и палач» они тебя хватают. В середине стишка просто перечисляются названия церквей Лондона – не всех, только самых главных.

Уинстон задумался, в каком веке могли построить ту церковь. Определить возраст лондонских строений непросто. Все крупные и величественные, если выглядят более-менее современно, автоматически считаются построенными после Революции, а древние на вид относят к неведомому периоду под названием Средневековье. Якобы за время существования капитализма люди не добились ничего. Изучать историю по архитектуре ничуть не легче, чем по книгам. Статуи, надписи, мемориальные плиты, названия улиц – все, что могло бы пролить свет на прошлое, целенаправленно переделывают.

– Не знал, что это церковь, – сказал Уинстон.

– На самом деле их осталось много, хотя им нашли другое применение. Так вот, детский стишок… как там дальше? Вспомнил!

Динь-дон, апельсины и лимон,

С колокольни гудит Сент-Клемент.

За тобой три фартинга,

В ответ бряцает Сент-Мартин…

Больше не помню. Фартингом называли мелкую монетку вроде нашего цента.

– А где был Сент-Мартин? – спросил Уинстон.

– Да он и сейчас стоит. Это на площади Победы, рядом с картинной галереей. Здание с треугольным крыльцом и колоннами, там еще много-много ступенек.

Уинстон прекрасно знал это место. Там находился Музей пропаганды, в котором выставляли модели ракет и плавучих крепостей, устраивали сцены из восковых фигур, изображавших зверства врага, и тому подобное.

– Раньше ее называли церковь Святого Мартина, что в полях, – добавил старик, – хотя никаких полей вокруг я не припоминаю.

Покупать картину Уинстон не стал. Слишком несуразное приобретение, к тому же домой ее нести нельзя, разве что из рамы вынуть. Он задержался еще немного и поболтал со стариком, которого звали вовсе не Викс (как значилось на вывеске лавки), а Чаррингтон. Мистер Чаррингтон, как выяснилось, был вдовцом шестидесяти трех лет и жил здесь уже три десятилетия. За минувшие годы он так и не удосужился поменять вывеску, хотя и собирался. Во время разговора Уинстон крутил в голове полузабытый стишок:

Динь-дон, апельсины и лимон,

С колокольни гудит Сент-Клемент.

За тобой три фартинга,

В ответ бряцает Сент-Мартин…

Удивительно, произносишь строчки про себя и слышишь звон колоколов забытого Лондона минувших дней, который все еще существует где-то, только

его так просто не узнать. Казалось, одна призрачная колокольня вступает вслед за другой. Насколько Уинстон помнил, слышать церковные колокола ему не доводилось ни разу.

Уинстон попрощался с мистером Чаррингтоном наверху и спустился по лестнице один, чтобы старик не увидел, как он оглядывает улицу, прежде чем выйти. Он уже решил, что после долгого перерыва, скажем, через месяц, рискнет заглянуть сюда еще раз. Пожалуй, это ничуть не опаснее, чем прогуливать вечера во Дворце культуры. После покупки дневника ему вообще не следовало бы сюда возвращаться, к тому же он не знал, можно ли доверять хозяину лавки. И все-таки…

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Новослов – официальный язык Океании. Сведения о его структуре и этимологии см. в Приложении. (Примеч. авт.)

Купить: https://tellnovel.com/ru/dzhordzh-oruell/1984-skotnyy-dvor

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить